

Ксения ЧИЖИКОВА

Ксения Чижикова родилась в 1992 году, выросла в городе Дубна Московской области. Закончила Высшую школу экономики, работает менеджером проектов. Живет во Франции. В «Волге» публиковалась повесть «Обычная история» (2025, № 7-8).

ИДУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Роман

Часть первая. Вниз

1.

По моей привычке ходить по городу можно подумать, что я люблю заглядывать в окна. Вовсе нет. В окно, про которое пойдет речь, я заглянул случайно.

Оно выходит во внутренний двор, похожий на глубокий и узкий колодец, с четырех сторон зажатый белыми стенами. В это окно нельзя заглянуть и никогда нельзя было, если, конечно, ты не живешь в одной из квартир напротив и не сосредоточишься мучительно на квадрате рамы, белом снаружи и черном внутри, стараясь уловить движение в глубине неосвещенных комнат.

Там живет старичок-пенсионер. Квартира пятьдесят шестая. Если спросить, как его зовут, я не вспомню.

Стоять за его плечом удобнее всего в темноте. Я смотрю, как он хромает, качаясь, из кухни в ванную, как дрожат его руки – цыплячьи прожилки вен, спущенная кожа на пальцах – когда он ополаскивает кастрюлю под струей воды.

Меня раздражает его старость. Я не переношу, что в какой-то момент старость становится жалобной – этот его дребезжащий, умоляющий тон, когда он разговаривает по телефону; как дрожит в его пальцах трубка, а он все извиняется, все переспрашивает, все как будто боится сказать, а потом все-таки вставляет свой подрагивающий вопрос, как руку в закрывающуюся дверь, чтобы придержать ее, пока она не захлопнется. Я ненавижу его привычку говорить «Уж прости, если что-то сделал не так», – виновато и немного наклонив голову, забывая про давление и про то, что ему надо держать ее прямо.

Когда ее забрали, он стал кружить по квартире. Натыкаться на кресла, открывать холодильник, подолгу смотреть туда, застыв на одном месте. Я в это время, кажется, стоял за его плечом и думал – раз уж я в его квартире, может, и я что-нибудь съем? Готов спорить, он не заметил бы, что что-то пропало, даже если бы все банки в холодильнике вдруг стали других цветов, а сам он заполнился чем-то вязким и склизким, вроде спекшихся кишок. Пластиковые баночки и плотно прилаженные крышечки над кровавой жижей. Спорю, что он все стоял и смотрел бы на разводы крови в желтом свете, а потом захлопнул бы дверцу, так ничего и не взяв.

У дальней стены был книжный шкаф, и я с любопытством рассматривал его. Мне всегда было больше интересно, что скажет книжная полка, или разделочная доска, или старая, пожелтевшая от времени пластмассовая лейка, уткнутая в угол подоконника, чем

сам владелец квартиры. Я рассматривал переплеты – страницы внутри пожелтели, края иссохлись, за стекло воткнуты фотографии, и лица расплываются в темноте.

Ее забрали в среду. Не знаю, откуда я помню, что в среду, но он только что пришел из магазина и что-то хрипло кричал ей из кухни, а она лежала на кровати. Потом тот, что в оранжевой форме, подхватил ее на руки – совсем не так, как делают в фильмах, а куда грубее и быстрее – и понес. Ее голова свесилась назад, и я подумал, что это же неправильно – надо как минимум придержать ее, чтобы не ударить об стену подъезда. И тому, который нес, как будто специально сказали сдвинуть брови как можно ближе. Другой, тоже в форме, стоял совсем близко и что-то говорил.

– Ее надо возить сейчас, прямо сейчас, вы понимаете? Пойдите! Вы меня слышите? Вы слушаете, что я вам говорю?

Он все кивал, все искал что-то в пространстве руками и находил только спинку кресла.

– Да, да, я возьму такси...

– Не стоит беспокоиться, нет!

– Вот только поставил кофе... Простите, наверное он выкипел... Надо выключить, как вы думаете?

Его долго не было, и меня долго не было, потому что у меня, представьте ли, были другие дела, но когда он вернулся, то вернулся без нее. Он все поглядывал на телефон, а тогда, когда не набирал номер, ходил – в дверь и за дверь, кругами по квартире, как будто если он повернет голову и посмотрит в окно, а потом снова резко снова ее повернет, телефон зазвонит. Но он не звонил.

Немощность, думал я с отвращением. Болезнь и старость неизбежно составляют вокруг тебя черный садок, и ты перестаешь даже понимать, в каком городе живешь. Может быть, в квартире, а может быть, на скамейке и ты вдруг очнулся, и уже ночь, и рядом спит бомж, выставив одну голую грязную ступню из-под брезентовой накидки. Или хуже – ты очнулся, а бомж сидит, согнувшись, и медленно поднимает глаза от книги, которую до этого читал, и смотрит прямо на тебя. И ты думаешь – что я здесь делаю?

2.

Что я здесь делаю. На самом деле это не тот вопрос. Хотя и этот вопрос имеет четкий и хороший ответ – я пришел сюда, потому что предчувствовал – что-то будет.

Я знаю, что ему нехорошо, по тому, что он перестал наполнять водой лейку. Перестал выходить на балкон кормить птиц. Иногда он подолгу сидит в кресле, закрыв глаза рукой. Когда он укладывается спать, я сижу рядом и смотрю, как горбится его спина – на левый угол подушки падает свет луны, но он поворачивается к луне спиной и отодвигается подальше. Я знаю, он ненавидит лунный свет. Теперь он спит на кушетке – их кровать так и стоит в углу, пустая, и красным квадратом смотрит в потолок.

Я знаю, о чем он думает. Он поправляет чашки в раковине и думает о том, что она не вернется. Он приходит из магазина и жмет кнопку звонка, зная, что внутри никого нет. Иногда он жмет ее по два или три раза подряд. Он тяжело поднимается вверх, часто останавливаясь между ступеньками – раньше он себе такого не позволял – и соседи окликают его, а он только тяжело кивает, длинный, полный кивок, чтобы люди не подумали, что он их не заметил. Он ездит ее навещать. Он звонит ей каждое утро и каждый

вечер. Я не слушаю, о чем они говорят, но голос в трубке всегда ее, иногда медсестры, которая что-то говорит, и он покорно кивает обоям в цветочек, а потом так же покорно кладет трубку на рычаг.

Им было много дано. Столько лет это много, это больше, чем получает большинство – я ведь видел, как отрезаются эти нитки. Видел, как щелкают ножницы, как между пальцев отмеривается время. Н много тоже заканчивается. Или, может быть, я не понимаю, что такое много.

Он открывает окно. Я стою у него за спиной и смотрю, как он открывает – тянет на себя шпингалет, дергает оконную раму, возится и давит на ручку, всю в облупившейся белой краске. Внутри квартиры темнота, и снаружи, во дворе-колодце, тоже темнота, но молочно-белая, подкрашенная ночью. Ночь в городе никогда не бывает полностью темной. Окно высоко, и ему неудобно. Он приставляет к подоконнику стул, и осторожно становится на него, прямо в своих домашних тапочках.

Где-то в глубине квартиры жужжит холодильник.

Телефонная трубка лежит на столе – он специально ее туда положил, аккуратно сняв с рычага. Ему никто не звонит, им никто не звонил – я почти не заходил сюда раньше, но мне казалось, что они жили в молчании, в свисте чайника, в недовольстве, что он так громко свистит. В их собственном молчании. Только когда она исчезла, стало понятно, как тихо в квартире на самом деле.

Он крепко держится за раму и смотрит во двор. Горит только одно окно, далеко слева. Белые стены отвесно уходят вниз. Сверху небо как будто выход из трубы.

Он ставит одну ногу на подоконник.

Я стою совсем рядом, рукой уперевшись в раму – да что там, я почти касаюсь его все еще слегка сторбленной спины. Жаль, что он меня не видит. Он не смотрит вниз – он теперь смотрит прямо перед собой. Он внезапно выпрямился, как совсем молодой человек – просто стоит и смотрит прямо – окно высокое – и дыхание его становится все медленнее. Что, как он думает, ждет его пятью этажами ниже?

3.

То, что ты видишь, зависит от того, откуда смотреть. Когда я иду по городу, я смотрю вверх – как плывут дома, как сегодня начищены на них таблички, как открыты окна, а на балконах колышутся флаги.

Он еще стоит на своем подоконнике.

Я мог бы рассказать ему о том, что жить стоит хотя бы ради того, чтобы найти еще одну точку зрения. Если бы он стоял со мной на крыше самого высокого собора, если бы он поднялся выше, внизу кружились бы городские шоссе, он увидел бы, как догорает на западе желтое зарево закат. Если бы он смотрел на город с моря, далеко в заливе, рассматривал бы, как раскидывается ряд белых жемчужин, как роятся в вышине ласточки, как поет волна, как подбегает к городу и убегает опять.

Если бы он понял, что не стоит уходить с вечеринки раньше времени, даже если ты долго слонялся и ни в одном углу не мог себя приткнуть. Все равно можно выйти на балкон и вздохнуть, и посмотреть на то, как город колышется в ночи. Не стоит только смотреть вниз, и не стоит смотреть вверх, как будто хочешь взлететь – против гравитации, то есть вертикально вверх, все выше, выше и выше.

Корни этой истории начинаются в моем прошлом. Так, в всяком случае, мне кажется. Не тогда, когда он поставил ногу на подоконник.

Не тогда, как я шел по городу и один день вдруг показался мне не таким, как другие. Не тогда, когда я попал в его комнату и смотрел в его спину в темноте. Даже не тогда, когда меня завербовали. А тогда, как я познакомился с ней.

4.

Кровавое пятно. Крик, срывающийся и исчезающий в воздухе, как будто воздух его задушил.

– Пи-у, пи-у, пиииииииии...

Приехали.

Машина.

– Да врача!! Вызовите же кто-нибудь врача!!!!

Хотя медики тут уже, конечно, не пригодятся. Истерика соседки с первого этажа. Она первая увидела, что он упал. Вначале подумала, что у кого-то опять, как в шестьдесят четвертой, выпал пакет с мусором, который до этого мирно стоял на подоконнике, но стоило только открыть раму, как на тебе.

Потом она поняла, что выпала не микроволновка. И не пакет с мусором.

– Он... он всегда так мило здоровался! Когда шел покупать овощи!

Вот и то, что остается. Чужой возглас. Административная работа. Неприятности. Ведра и ведра чистящего средства, чтобы отмыть кирпичную кладку внутреннего двора.

– Он теперь станет привидением? И будет тут жить?

Ребенок из пятой.

Он и раньше тут жил в этом доме, хочется сказать мне. Но меня никто не замечает, и все устроено так, что меня никто не замечает – не замечает, что я стоял с ним рядом, не замечает, что я не стал смотреть на все это сверху. Мне не хочется подходить к пятну слишком уж близко – зачем?

– Вы знаете, что тут произошло? – здоровенный детина-пожарный – светоотражающий жилет, такие же светоотражающие брюки и ботинки, которыми можно подавить много вредителей, если долго и упорно топтать ими в очень маленькой комнате.

– У него жена в больнице, – кто-то из толпы. Голос вроде бы мужской, но срывающийся, как бывает у людей, которым по их собственным, нервным, причинам, хронически не хватает воздуха.

– Была в больнице. – женщина. Соседка с первого, что ли?

– Что, похороны были? Я думала, она еще болеет? Вернется скоро.

– Не знаю, по-моему, не было.

– По-вашему или не было?

– Да откуда я знаю!

Детина морщится и с некоторой осторожностью, но все же вытаскивает из толпы соседку с первого и аккуратно, но крепко берет ее за плечо.

– Вы видели, что здесь произошло?

– Н-ничего я... – она запинается, хотя обычно тараторит, как ненормальная.

– Да кто это? Из какой он?! – раздается из толпы.

– Из пятьдесят шестой.
– Тот старичок?! Тот? Да что ж за... он?? Да как он? Как он?! Вы что?
– А вы почему знаете, что из пятьдесят шестой?
– Из пятьдесят шестой, я вам говорю, и все. А вы думаете, откуда?
– Я не эксперт-криминалист!
– Ну и помалкивайте!
– Почему это я должен помалкивать? Разбудили, на уши поставили весь дом!
– Да замолчите вы наконец!!
– У меня ребенок проснулся! – какая-то женщина, из шестнадцатой, кажется, молодая мама. Голос у нее такой неприятный, что хочется немедленно заткнуть уши пальцами.
– А вы думаете, у вас одной ребенок?! А у меня нет ребенка?
– Вы что, тут одна живете, милая?
– Да замолчите вы!!
Детина по-прежнему держал соседку, готовую покачнуться, за плечо.
– Вот вы мне все и расскажете, правда? – произнес детина примирительно. – Кто был, что делал, что тут случилось.
– Что мне вам... рассказывать? – сказала она внезапно очень тихо. – Я ничего не знаю. Решил человек... ну... Из окна. Я-то тут при чем?

5.

Мне повезло, что не пришлось объяснять, как я попал в эту комнату. Если надо было, я бы, конечно, объяснил, но лишний раз я стараюсь не говорить о своей профессии.

Я поисковик. Специализируюсь на поиске людей. И вещей. И следов. Поиске того, чего тем, кто сейчас главные в городе, надо найти в данный момент.

Я работаю один, и работаю по заданиям. Задания бывают не то чтобы очень часто. Иногда по два в неделю, иногда по несколько недель ничего нет. Я ищу, что говорят, и передаю информацию. Все. С другими я не работаю, ни с кем не сотрудничаю, и одиночество такого рода обостряет мое поисковое чувство, эту большую пернатую тварь, которая иногда нетерпеливо бьется о дверцы клетки и хочет вырваться наружу. Хотя нет, я вру. Это чувство не похоже на птицу, совсем даже нет, оно больше как ползущий над землей запах, бензин в ноздри, камень, дождь, перламутровое сияние, исходящее от стен домов. Я угадываю, от чего чем веет, что где находится, где прячутся секреты, и иногда даже и не приходится особо далеко ходить. Даже прощупывать и то не надо. Просто тонкая струя запаха. Просто то, что я вижу.

Они наняли меня не потому, что особенно искали, а потому, что такие, как я, у них на особом счету. Таких, как я, мало, и их надо по возможности беречь, и их, в общем и целом, не трогают – не трогает то, что вилами вонзается в другие места, то, что оставляет кровавые следы на металлических поверхностях. Это не я им нужен, а то, что я могу. Но то, что я могу, не живет без меня.

Как поисковик я имею некоторые привилегии. Не могу сказать, что они сильно облегчают мне жизнь, но иногда пригождаются. Я могу заходить туда, куда другим нельзя, причем так, чтобы меня никто не видел. Я могу проникать, как проникает холодный воздух через трещину в раме, как проникает скромная мышь в буржуазную квартиру – без приглашения. У нее нет документа, но документ к ней, в общем-то, и не применяется. Даже если бы у нее и был документ, ее вряд ли бы пустили.

Я понятия не имею, что сделали люди, которых я ищу. А пешком – я много ходил и до того, как меня завербовали. Я всегда любил ходить пешком. Во мне есть что-то, что толкает меня на бесконечное движение вперед. Я хожу по разными кварталам, по разным кругам – одни грязнее чем другие, а другие жарче. Это не те круги, если что, по которые вы подумали, потому что ничего похожего на движущийся огонь там нет, и слоев льда тоже, и сколько-нибудь неприятных мучений нет, кроме тех фраз, которые непонятно кто иногда выкрикивает в моем мозгу.

6.

Я поднимаюсь и лечу над крышами, и город летит вместе со мной – мостовые сочатся, где-то внизу бежит и поет река. Я сверху вижу парочки, сидящие на крышах, замечаю, как клювами касаются друг друга голуби. Вижу квадратики машин, круглую площадь, которую они огибают по дуге, вижу, как открываются окна верхних этажей, как висит над парком огромный воздушный шар. Я смотрю на город так, как будто он зажат в стеклянном кубе, а я могу поворачивать его и так и сяк, вертеть и трясти. Внизу коричневый, а сверху голубой. Я смотрю и вижу, как играет вода – в один день зеленая, а в другой – желтая, а в третий синяя, темнеет на баржах и обнимает маленькие катера. Белые полосы остаются сзади, двумя перистыми следами, когда те идут по реке вниз. На подоконниках и крышах красные цветы – почему всегда красные? Как будто все владельцы подоконников и балконов в этом городе сговорились не пускать на них котов, не выбрасывать белье сушиться мокрым краем наружу, не хранить на решетках поломанные велосипеды, а выставлять цветы – всегда красные. Крупные лепестки, я мог бы подлететь совсем близко и даже – мог бы, точно говорю, мог бы – оборвать их все и высыпать вниз, на мостовую.

Я вижу город каждый раз разным, потому что он каждый раз поворачивается ко мне новой стороной. Другая сторона, которую я видел в прошлый раз, остается, но как будто прячется, но я запомню ее, я смогу вытащить, как тонкий конверт виниловой пластинки, которую другой покупатель положил в самую середину «рока», когда вообще-то ей место в «блюзе». У нее на глянцевой обложке облака, и я тоже вижу облака, белые столбы, среди которых, как среди колоннады, прячется и гуляет ветер. Если подняться еще выше, то будет одна пустыня, покрытая бурунами, как будто только что сошла лавина.

Я иду по мостам и террасам, по тропинкам и аллеям – огибаю и нагибаюсь, поднимаю листки из школьных тетрадей, сигаретные пачки, расписанные ручки, сломанные зонты, забытые перчатки, ключи, за кольца надетые на изгороди. Один раз я даже поднял красный цветок – удивительно, как его не затоптали. Он лежал у меня в руке, тонким крылом прильнув к середине ладони.

Я вижу больше, чем остальные, конечно. Но не потому, что я поисковик, а потому, что внимательнее смотрю. Ходят слухи, что таким поисковикам, как я, дают расширенные возможности, и они далеко превосходят возможности обычных людей. Якобы у нас есть доступ к библиотекам, в которые простым смертным вход воспрещен. Не скажу по поводу смертных, потому что этот термин они стараются не употреблять. Но ни в какие особые места для поисковиков доступа у меня нет, и никакой информацией нас не пичкают, кроме той, которую мы можем найти сами. Поэтому я, собственно, и рыскаю так много времени по городу, иногда медленно, почти лениво, иногда по сообщению, что след куда-то ведет, а мне просто надо шагать рядом с ним.

7.

Когда я иду – от того часа, когда зажигаются фонари, до того, как ночные рабочие вычищают кастрюли, моют вертела, ссыпают горы костей в контейнеры с мусором, заталкивают туда остатки ночного обжорства, чтобы утром их забрала мусорная машина. Я притворяюсь, что не знаю, что ест этот город по ночам – по правде говоря, мне все равно, потому что я не вижу, как в пенистой струе воды блестят лезвия. Как капает в бульон кровь из порезанного пальца, как мышь робко выглядывает из плинтусовой дыры. Какое мне дело – я скольжу мимо витрин, где они сидят, посверкивая своими десертными ножами, и золотые кольца – только кажется, что золотые – сжимают им шею, смыкаются вокруг нее, как пятерня. Почему бы и нет – металл тебя душит, а тот, что сидит напротив, смотрит восхищенно, как ты сегодня горишь.

Погоди, ты не сумеешь освободиться. В этом котле для всех найдется место, и если повезет, ты сможешь даже выбрать ряд, зло думаю я. Я бы вошел и сам сжал твоё горло рукой – предпочтешь первый или последний, как тебе больше нравится?

Мне интересно думать о том, как они готовят все действо – затягиваются и смеются, бросая на тротуар желтые угольки непотушенных сигарет, деловито и заботливо сворачивают и раскладывают по местам салфетки, накаляют решетки, так, что снизу взматывается красное пламя. Толщину стенок проверяют пальцем, пока те не нагрелись. Суют свой нос в запах пальто в гардеробе. Серебряные инструменты у них хранятся в ящичках наподобие тех аккуратных, в которых хранят столовое серебро – все должно быть под рукой. Кто сказал, что боль всегда так уж плоха – они же веселятся там внутри, метают взглядами друг в дружку, сначала легкими, а потом их глаза становятся все ярче, а голоса все громче – над толпой у бара стоит такой гул, что и слова не различишь. Температура все растет и растет – фокус в том, чтобы поднимать ее плавно, по градусу, чтобы было не заметно, как бросается в виски, как начинает ныть, когда втыкают блестящий инструмент, как сочится и жжет. Чего беспокоиться, когда люди и не замечают, что их жжет. Не замечают даже тогда, когда их сожгло совсем.

– Куда идешь? Эй, давай к нам!

До меня долетает окрик, но я уже заворачиваю за угол, и меня обдаёт холодным ветром – на тот праздник, что там, внутри, я не суюсь. Пару раз и меня лизнуло огнем, но я вовремя ускользнул, исчез, и они из своего тепла не смогли меня достать.

Я люблю идти днем и люблю идти ночью. Днем я обозначаюсь четче, меня легко узнать, легко заметить, например, из идущего мимо автобуса – но я-то знаю, что если даже я и застряну у кого-то в глазу, надолго там не задержусь. А вот ночью – ночью я становлюсь фигурой, двумерной, но живой. Я двигаюсь от улицы к улице и не существую, пока на меня не упадет свет какой-нибудь террасы и луч не полоснет меня по лбу, носу, губам, подбородку, а потом опять не стечет в темноту.

Столы они всегда выставляют так, чтобы я натыкался на них. Столы и мусорные контейнеры, которые никто толком не закрывает, и живая каша, смешанная с кровью, плещет на все четыре стороны.

Почти так же, как и тут, сейчас, во дворе.

8.

Когда мы только переехали в этот дом, мне ужасно понравилось то, что здесь окна раскрыты на две стороны – одни во внутренний двор, а другие во внешний мир. Сквозная квартира, и сам дом тоже сквозной, и одновременно как бы закольцованный, потому что внутренний двор – как колодец с глубоким дном.

Глубже, чем я мог бы подумать.

А соседка – она из второй. Второй квартиры на первом этаже. Всего в этом доме около восьмидесяти квартир, но всех владельцев совсем не так сложно запомнить, как это кажется. Казалось бы, восемьдесят человек никак не влезает в память, никак не помещаются в ней, но когда ты начинаешь различать их по возрастам, по тому, живут они вместе с мужем или женой, чьи окна каждый вечер горят, а из чьего окна доносится музыка, становится гораздо проще. Имена тоже сами начинают идти на язык.

Входа в этом доме тоже два – парадный и беспарадный, как она, смеясь, его называет. Сам дом, как и город, строился очень давно, и входов тогда было четыре – два с внутреннего двора и два с улицы. Но те, что с улицы, сейчас наглухо закрыты, и никто даже и не догадается, что там был вход. Ну, кроме крыс. Подъезда всего два, и лифт в одном из них маленький, но исправно работающий, который возносит вас на этажи, с первого по седьмой, только на восьмой надо пешком подниматься. А в беспарадном, то есть в соседкином подъезде – лестница, и лифта там нет. Лестница широкая и довольно удобная, не винтовая, хотя и такая тут тоже есть, в первом подъезде, где она вьется вокруг шахты лифта. Первый подъезд больше, а второй как бы вставной ящик, второй, секретный слой дома – в первом должны были жить те, что побогаче, во втором те, кого не должны были видеть. Теперь, понятно, все смешалось, и все только пожимают плечами на то, что дом так странно спроектирован – как коробка с двойным дном.

Я сам нередко поднимаюсь и спускаюсь по этой винтовой лестнице, хотя иногда мне и кажется, что колени у меня подогнутся на пятом пролете, и я полечу головой вниз.

Соседка эта тоже взбирается, но всего лишь один пролет, на первый этаж, чуть-чуть вознесенный над каменной кладкой двора. Метра на полтора, не больше. Про нее на первый взгляд было почти нечего сказать. Случайная прохожая, и все. Лицо у нее неприметное, даже некрасивое, маленькое и обтянутое кожей, на щеках желтоватое, а на висках прозрачно-голубое. Волосы жидкие, а глаза зеленовато-карие, водянистые и с блеском, который странным образом их не украшает, а только делает еще более голодными. Она вся выдается вперед, как ее зубы, и наклоняется к собеседнику очень близко, и так и сыпет, частит словами так, что ее невозможно прервать. Ходит она всегда спеша, закутанная в два шарфа, накидку, шапку, повязку, пальто, еще одно пальто – идет, изредка обижаясь, когда ей наступают на ноги, не вскрикивая даже, а сердито зыря на людей, когда грузовик, проезжающий мимо, обдаст ее сбоку грязью.

Своими жадными глазами она всегда и все обшаривает – улицу, двор, меня, и то, как мы идем, взявшись за руки, по двору.

– Из магазина идете? Правильно, идите, идите, – бормочет себе под нос.

Она всматривается, как будто разглядывает, углядывает, что такого происходит в мире и во дворе. Больше во дворе, чем в мире. Она не смотрит вдаль, не смотрит в небо – она смотрит по углам, в щели, куда забиваются конфетные фантики и жвачки, смотрит в

трещины на мостовой, на прозрачные мусорные мешки, которые вдевают в урны. На витрины она тоже смотрит, но не туда, где выставлено все самое дорогое и изящное, а туда, где продукция уже покрылась пылью, зачерствела, ушла в тень, почти что свалилась с узкого прилавка, но все еще балансирует на самом краю.

– Дай возьму. – говорит она, когда кто-то выставляет во двор потрепанную одежду, или книжки, или детские игрушки.

– Вам не нужно, а я дай возьму, дай возьму.

Когда я только ее увидел – случайно, на лестнице – она прошла мимо, охая и заворачиваясь поглубже в свои два платка и плащ, и я подумал, что она из тех, кто уж точно приучен с самого начала не требовать многого. Она из тех, что выбирают какую-нибудь маленькую, незаметную деталь, вроде фарфорового сервиза, или портрета своей бабушки за коричневатым стеклом, или такого же маленького, незаметного человека, а потом строят вокруг него всю свою жизнь.

Сложно было сказать, сколько ей лет. Я думал, шестьдесят, а потом пригляделся, когда она шла с внезапной, совсем несвойственной ей резвостью, и подумал – а может, сорок пять? Может, сорок семь, сорок восемь? Или вообще сорок три? Мое внимание привлекло то, что в тот день вид у нее был торжествующий, победный до такой степени, что она почти что вывалилась из собственной шкуры и стала кем-то другим. А у таких женщин редко бывает торжествующий вид. Если не сказать никогда. Уж не наследство ли получила, подумал я. Или встретила кого?

У нее был вид того, кто ухватил то, чего хотел – я смотрел, как она идет, осторожно, переваливаясь и придерживая все свои слои, которые укрывали ее сверху донизу. И тогда я, кажется, понял, что именно она смела с прилавка, что такого ценного присвоила, что заставило ее лицо, обычно такое немилостивое, так непривычно сиять.

Она придет домой и аккуратно поставит на стол пакет с продуктами, который несет на отлете, зажав двумя пальцами. Погладит себя по животу. Как я не заметил этого раньше? И как это получилось, интересно?

Никто не возьмет пакет у нее из рук. Пустая квартира – но это неважно. Уже неважно.

9.

– А из второй-то? Вы слышали?

– Что – из второй?

– Я думал, она уж и не может... а она – вон как.

– Ну, вы даете. Вы же не знаете, сколько ей лет!

– Я думал пятьдесят!

– Вообще-то женщины сейчас и в пятьдесят могут.

– И много вы видели женщин, которые в пятьдесят могут?

– А с кем это она? Простите за нескромный вопрос.

– Да откуда я знаю, с кем!

– Может и могут, но... – понижая голос. – Как она дальше-то будет? У нее ж каморка. Метров десять, и все. Как растить-то?

– Ну, раньше и на десяти метрах троих выращивали, знаете.

– И много вы сами таких видели, которые...

– Да какая разница!

– Так у нее ж и денег нет!

– Вы дать хотите?

– А что, может нам организовать.... Ну, сбор? Соседский сбор?

– Я скидываться не буду. Это ее проблемы. Сама рожает, самой и растить, знаете ли! Какое мне дело до ее ребенка!

Соседский сбор мы потом организовали, конечно. Я даже сам в нем поучаствовал.

Никто не спрашивал у нее, конечно, как это вышло, да она бы и не рассказала.

Вряд ли был это кто-то случайный, кто просто сказал:

– Давай.

Или, наоборот, знакомый – кто-то, с кем она часто сталкивалась? Он курил, а она бочком, аккуратно проходила во внутренний двор, поднимала крышку мусорного ящика и заталкивала туда свои многочисленные пакеты. Робко улыбалась ему. А он делал вид, что не обращает внимания. Или кто-нибудь, кто высматривал ее из-за полок в магазине? Его лицо почти закрывают коробки с сухим кошачьим кормом, жестянки с консервами и круглые, с блестящими боками банки. Вечером она пригласит его к себе, и он неловко протиснется в узкую прихожую, сунет ей бутылку вина и вытрет грязные ботинки о коврик. Как бы тщательно он их не тер, на застарелой, заскорузлой коже ботинок все равно останутся царапины. По случаю она, наверное, причешется тщательнее, даже немного намажет губы красным – подушечками пальцев, но немного, чтобы случайно не замазать ему подбородок.

Все быстро, суетливо – и наспех выпитое вино, и одежда, которую он просто скинул на пол, а она торопливо стащила с себя, но потом все-таки сложила более или менее аккуратной стопочкой. Возня в темноте, откидывание тяжелого и почему-то уже пахнущего его потом одеяла, когда она стирала его только вчера, ну, что ты будешь делать! Ойканье, когда он случайно сжал ее слишком сильно, и это чувство, странное чувство, когда одной рукой он тяжело оперся о кровать, а другой взял ее за волосы. Он что-то шептал ей на ухо, гадости, конечно – она не хотела слушать, она и не слышала их, и не знала, что такие существуют, что-то подобное доносилось до нее только иногда, издавека, на улице – и не слушать оказалось просто. Надо было всего лишь представить, что его слова лопаются и разлетаются на брызги, прямо в воздухе, как водяные бомбы, сброшенные тем несносным мальчишкой с третьего этажа. На каменной кладке от них остается только испарения, мокрота, капельки тумана, что слетают с его губ.

Но главное – не это. Главное то, что если повезет, все получится с первого раза. Воспоминания можно будет выставить так же быстро, как сразу же после – его самого.

– Что ж, спасибо! Увидимся! – и улыбочка, искренняя даже, но адресованная совсем не ему.

– Если захочешь повторить...

– Да-да!

Он тяжело хлопает дверью.

Не знаю, как ей так повезло, но получилось действительно с первого раза – получилось, и она знала это, кажется, еще тем же утром, когда вывернулась из-под все еще пахнущего потом одеяла, втиснулась в малюсенькую ванную, встала в профиль и стала рассматривать свой живот. Живот, понятно, был такой же, как обычно – плоский, слегка впалый, с белыми волосками, которые виднелись по бокам и около пупка. Она вертелась так и эдак и смотрела на него с некоторым триумфом – никто и не поверит, что ей, той, кому никогда не уступают место, той, кого никогда не приглашали на танец, той, которой никто

и никогда не признавался в любви, не вскидывал на нее глаза восхищенно, не подавал руку при выходе из троллейбуса, не оглядывался вслед – ей, совершенно незаметной, даже для самого города, который не открывает перед ней никаких дверей, ни кованых, ни крашенных зеленой краской, ей, ей, ей! – удалось проверить такое.

Я думал, как она стоит, с торжеством глядя на свой живот, и уже чувствует это – непонятно как, но там, в глубине, под ее кожей, под ее жиром, под ее сердцем, уже сталкивается что-то, гнется, сливается, сопротивляется и все-таки сливается, и там уже есть та маленькая запятая, та загогулина, которая ей так нужна.

Она гладит свой живот.

Не переживай. Теперь бессмысленно – ты ведь уже в пути.

10.

Доносила она почти до конца срока – меня не было в доме, когда ее увезли в госпиталь.

Ей повезло. Она вернулась через целых две недели, когда консьержка уже дважды спросила меня, где она, а я дважды ответил, что не знаю.

– Откуда я знаю! Она мне не родственница!

– Я всех спрашиваю, – озабоченно заохала консьержка. – Всех, всех. Вдруг с ней что-то случилось! Она женщина в возрасте, понимаете! Ну то есть не настолько в возрасте, чтобы... Чтобы не... Ну, вы понимаете.

Я хотел было сказать, что со всеми иногда что-то случается, и с беременными женщинами в конце срока тоже, но не стал.

Она вернулась через две недели, живая и невредимая, с большим кулем – таким большим, что он казался похожим на огромный букет цветов, только полностью завернутый в пленки и одеяльца, изнутри которого доносился тоненький писк.

Она гордо прошествовала с этим кулем по двору.

– Это ваш ребенок, дорогая? – спросила у нее дама с четвертого с нескрываемым удивлением.

О нет, о нет, это мешок конфет.

– Да! Девочка! Почти пять килограммов.

– Как назвали?

Она промурлыкала имя, держа куль в руках и прижимая его к груди. Даже со своего высокого этажа я видел, как сияют ее глаза.

– Прелестно. – одобрила дама. – Вам очень повезло.

Говорила она это таким тоном, что вот-вот и скажет: «Отличное имя для простолюдинки». Но она любовно смотрела на свой куль, и соседкин тон пролетел мимо нее.

– Спасибо вам. Спасибо! Спасибо!

И, поспешая, она засеменила в свою квартиру на первом этаже. Она слегка переваливалась, но только совсем слегка.

11.

– Вы как? Можете сказать, что тут произошло? – детина все еще держал ее за плечо.

– Может, его кто-то толкнул? – донеслось из толпы.

– Не говорите ерунды! Они жили вдвоем. Жена в больнице. Кто мог его толкнуть?

– У меня... ребенок. – сказала соседка, глядя ему в лицо. – Дочка. Ей год всего. Простите, я только недолго могу с вами... поговорить, мне вернуться надо. Она меня ждет. Дитина отпустил ее плечо.

– Да, конечно. Пройдемте со мной. Где тут можно...?

– Да вот тут.

– Да может, он с ума сошел! Может, у него деменция раньше времени началась! Был он странноватый, не знаете?

– Да нормальный он всегда был. Продукты покупал. Он раньше учителем работал.

– Понесло его...

– Ну, кто так делает...

– Жены всего месяц нет, можно подумать, что...

– Давно они тут живут, не знаете?

– Да сколько дом стоит, столько и живут. И родители их жили, отца его квартира...

– Отца?

– Да я не знаю его отца, это все лет восемьдесят назад....

– Вы пройдемся, пройдемте. Быстрее начнем, быстрее закончим.

– А завешание-то...

– Это что, какие-то чужие люди? В его квартиру?

– Да. Да, конечно.

Толпа в конце концов унялась. Ночь прошла, и небо понемногу начало светлеть, неохотно, но неуклонно. Как будто вначале оно совсем еще темное, а потом его начинают подсвечивать в одном месте, в другом, и оно становится светлее, светлее, и висит над городом – бело-серое и бессолнечное.

Совсем еще раннее утро, и люди, все еще переговариваясь, кто трясясь, кто спокойно, положив руку жене на плечи, топая домашними тапочками и скруглив плечи в накинутах наскоро пуховике, расходятся по своим квартирам.

– Что ж такое...

– Угораздило же, а!

– Никогда не знаешь, что у них в голове...

– Альцгеймер? Никто и не заметил...

– А дети у них есть?

– Вроде были, а вроде и не было, откуда я знаю. Я тут только пять лет живу, а они...

Все разошлись, даже дитина, который все хватал соседку со второго за плечо, куда-то в конце концов убрался с своими «ребятами».

Я старательно отводил глаза от асфальта. Я теперь не смогу думать ни о чем, когда смотрю на городскую каменную кладку, кроме открытого погребка ночи. И него.

12.

Обратно в квартиру я решил подняться по лестнице, и это было ошибкой.

– Вы как думаете, он сам?

Между вторым и третьим этажом ко мне пристал сосед, которого, насколько я помню, во дворе не было. Видимо, он все это время сидел в своей квартире, прежде чем ко мне пристать.

Взгляд снизу вверх, лукавый, и длинная белая борода, которая делала его до странности похожим на святого. Я видел его до этого всего пару раз, и, насколько я знал, у

него не было никакой профессии, кроме как раздавать на улицах листовки непонятного содержания. Одет он был, конечно, не в рясу, но что-то вроде того, что-то длинное и бесформенное, напоминающее даже не пальто, а длинную, до земли, накидку, сверху которой безрукавка на искусственном меху.

– Так как вы думаете? – он заглядывал мне в лицо. – Я не видел, как все было, я в окно не смотрел, но когда закричали, я подумал... А потом я выглянул и... как-то... увидел..

Я помотал головой и сделал попытку протиснуться мимо него, что должно было означать, что я тороплюсь.

Но он преградил мне путь.

– Но! Но! Вы же были... ну, свидетелем. Первым свидетелем. Вы все видели!

– Кто сказал, что я был первым свидетелем?

Он так и запыгал.

– Никто, никто, но... Вы же были там, верно? Он сам? Как вы думаете, он сам? Бог не позволит, чтобы так...

Вот. Началось. Бог не позволит. Как будто у него где-то там, в недрах его одеяний, есть маленькая черная книжечка, где записано, чего он позволит, в левую колонку, и чего он не позволит в правую. Вы-то откуда знаете, чего позволено, а чего не позволено, чуть не спросил я. С явным раздражением бы спросил, надо признать.

– Я понятия не имею, сам он или не сам.

– Давайте поговорим? Если зайдете ко мне? – спросил он внезапно.

Я остановился.

– Не думаю, что это хорошая идея, эээ...

Я не помнил его имени. «Божий человек» называла его наша консьержка, хотя он постоянно тырил у нее конфеты и другую еду, и она на него за это не обижалась.

Почему, интересно, почти все «божьи люди» или как их там называют, ужасно назойливы, почти все любят поговорить, и сразу берут опасно близкую дистанцию и не отстают от тебя, не отстают, потому что насквозь видят твое счастье или несчастье и увязываются за ним следом. Искатели света, вот кто они такие – и не в возвышенном смысле, а в самом бытовом. Будут искать его, искать, искать, приставать, а если уж увидят в тебе что-нибудь, то не отпустят ни за что. Она так ищет солнечные очки в ящике комода, как они ищут свет – засунет руку как можно глубже и на ощупь перебирает там предметы, гремит, тычет наугад между узких полок, нащупывает и с трудом вытаскивают, зацепив одним пальцем. Так же и он, если надо, каждый раз вытаскивает из людей то, что в них есть хорошего. Ну и денег, куда без этого.

Он только одной ступенью – квартирой – отличался от бездомного. Ему было где жить. Бездомных в городе очень много. Они просят и просят – они созданы как зеркала, как крючки для одежды, чтобы повесить на них свою вину и горечь, опереться, стаскивая ботинки, на их плечо, бросить монету, и тут же забыть. Они мусоросборники, прямо как те, в которых ночью плескалась человеческая каша, только со ртами и головами. Их наняли отражать печаль, чтобы несчастье было на улицах, присутствовало там так же, как и счастье. Всего должно быть в равных пропорциях. Это же город. Иначе здания все покосятся на одну сторону, если добра будет больше, чем печали...

Кажется, что можно отдать им свою печаль – когда они рядом, то немного преломляют ее, делают поменьше, отбирают ее у тебя, даже выпрашивают. Сами-то, конечно, думают, что оставляют людей легче, чем нашли их, и если не наставляют на правильный путь, то хотя бы показывают, где он.

Почти все, кто ищут в людях свет, почему-то уверены, что течения внутри человека так просто развернуть, достаточно что-то сказать, стоя у берега. Люблю смотреть на их физиономии тогда, когда они разочарованы. Это даже лучше, чем вытащить монетку, подкинуть ее, и мы оба смотрим, смотрим, как она переворачивается, взлетая, а потом поймать, подмигнуть и пойти дальше. У них, когда я так шучу, обидно приоткрывается рот, совсем как у детей, когда у них сначала водят под носом мармеладным мишкой, а потом снова прячут его за спину.

Если подумать, то они служат сразу нескольким целям. Может быть, подсаживаться за столики к тем, кому не хочется возвращаться в пустую квартиру; может быть, наполнять своим журчанием коридоры, где люди выстроились в очереди в туалет, и сердито поглядывают на дверь, но слушают – а куда деваться? Может быть, он видит тех, у кого холодно внутри, опускается рядом на сиденье в автобусе, хватается за перекладину в метро прямо над ними и смотрит, по-доброму смотрит, как будто есть что-то такое, что они могут ему доверить. Он донесет это до дома за воротником своей куртки, под полрой – согреет, а не выбросит. С ним можно поддакивать, он болтает и дает им ритм, и надо только упасть в этот ритм, подстроиться, начать кивать, а там уже покатится, покатится прочь их несчастье.

За это-то их, наверное, и терпят – за паузы в разговоре, за сочувственную улыбку, за вечное «ты не один». За удобный задник, на котором нарисовано что-то даже симпатичное, за назойливость, которая не умаляет горе, но стачивает его по краям. Но если отвечать, если только отвечать, то его успокаивающее журчание немного оттеснит огромный валун, который до этого прижимал их сердце к стене. Когда он уйдет, останется раздражение. Не за то, что отвлек и уболтал, а скорее за то, что ушел, увальсировал за поворот, и теперь непонятно, как удерживать этот валун на безопасном расстоянии от сердца.

Но, с другой стороны, я могу себе позволить быть злым, а им приходится все время быть добрыми. Не скучно ли это? И я уж точно никому не показываю дорогу вперед, и никого не наставляю на путь истинный. Это их специализация.

Сосед тем временем не отставал.

– Пойдемте ко мне? Поговорим... А вы...?

Я вполуха слушал его вопросы, и какие-то странные это были вопросы – про то, скользкий ли бы подоконник (откуда я знаю), про то, долго ли он летел (откуда я знаю), про то, верующий ли он был человек и как, когда супругу-то увезли, сосед пришел, и хотел даже поговорить, а тот не открыл ему дверь, ну вы можете себе представить, какие сейчас бывают люди, но мы-то с вами понимаем, что...

– Чего вы от меня хотите?

Он смутился.

Если сейчас скажет, что денег, то мне придется дернуть его за бороду. Чтобы больше не приставал.

Он выпрямился и помолчал.

– И все же лучше в квартиру зайти.

– Нет.

Я покачал головой.

И тогда у него изменился тон. Резко изменился, так, что мне даже показалось, что он одновременно как-то выпрямился, вытянулся, перестал горбиться и размахивать руками.

– Вы ведь из этих, да?

Этого я никак не ожидал.

– Вы все видели, да? Видели же, не притворяйтесь. Вы, может, там даже и были.

– Где – там?

– Вы... путешествовать можете. Перемещаться можете. Вы и... – он потупился. – Вверх, и вниз заходить можете. Так же?

Я коротко вздохнул и посмотрел в окно. За окном не показывали ничего. Двор – колодец. Узкий, но не такой узкий, чтобы можно было четко и рассмотреть, что происходит у соседей напротив. Видно было, как голуби садятся на подоконники, как у противоположного окна зажигается лампа, видно, как чья-то рука толкает оконную раму. Видно, как солнце бьет в стекла, когда поднимается над городом в очередной раз. Еще один день.

– Вы меня, очевидно, за кого-то не того приняли. – сказал я медленно и отчетливо.

И, когда мой ответ его не удовлетворил, добавил:

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

Он смотрел на меня своими маленькими, глубоко посаженными глазками и качал головой.

– В каждом доме такой есть. А в нашем доме это вы. Вы больше всего... в вас есть что-то... такое.

Такое. Во мне есть что-то такое.

Что во мне есть «такого», я спрашивать не стал и, не оттолкнув, но отодвинув его от себя и протиснувшись мимо, стал подниматься вверх по лестнице. Он, к моему удивлению, но некоторому облегчению, не последовал за мной.

Не потому, что он был неправ, не потому, что он не знал, о чем говорил, а потому, что никому не полагалось знать. Я знаю город вдоль и поперек, знаю его дороги и маршруты, но прежде чем говорить о дорогах и маршрутах, надо поговорить обо мне.

А я не хочу говорить обо мне. Я не затем эту историю рассказываю, чтобы говорить обо мне. И я уж точно не хочу говорить о том, что я был тем вечером за его спиной.

Как он догадался, интересно?

13.

Стряхнув бородатого соседа, в буквальном смысле, со своих плеч, я все-таки поднялся до квартиры и, стараясь не шуметь, вставил ключ в замок и повернул его.

– Это ты?

Она не вышла меня встретить, просто окликнула меня из комнаты.

– Это я. – сказал я, снимая ботинки.

В прихожей было темно и пахло как обычно.

– Что там произошло?

Я вошел в комнату. Она сидела, оперевшись спиной на изголовье кровати, и читала – как обычно, две книги сразу. Одна книга валялась рядом, на одеяле, и она время от времени проводила пальцем по обложке, а другая была у нее в руках, и она приблизила ее очень близко к носу и держала вертикально, чтобы не нагибать шею. Получалось как на той картине с яблоком – откуда я смотрел, книжка заслоняла ей лицо.

– Сколько времени?

– Семь?

– Семь двадцать. – Она опустила книжку. – Утра. Так что там было?

Я подумал, что ей сказать. Но, как всегда, не нашел ничего, кроме правды.

Я тяжело сел на кровать. Странно, но мне не хотелось лечь на нее щекой и заснуть – хотелось шагать, идти, вкладывать в ноги всю силу, которая в них есть, и подальше, подальше отсюда.

– Наш сосед. – сказал я. – Пятьдесят шестая квартира. Он... с ним... он умер. Выпал из окна.

Она охнула, уронила книжку и прижала обе руки ко рту. Я ничего не говорил, но она поняла и так.

– Во... дворе? В нашем дворе?

– Из окна, – повторил я. – Да.

– Какой ужас. – она оторвала руки ото рта и прижала их к щекам. – Какой ужас, какой ужас.

Молчание.

– И он специально? Это не несчастный случай?

– Это не несчастный случай. – сказал я.

Она не спросила, откуда я знаю.

– Это не несчастный случай, – повторил я. – Сам. Ему почти семьдесят было. Но не поэтому.

Она помотала головой сначала справа налево, а потом слева направо, и сильно встряхнула ей.

– Из-за жены?

Я молча кивнул.

– Какой ужас, – повторила она снова. – Какое... плохое утро.

– Ну, у нас не обязательно должно быть плохое утро. – сказал я без особенного энтузиазма. – Хочешь кофе? Я сварю.

– Это как такая штука, занесенная над домом, – сказала она задумчиво. – Штука, которая висит и занесена над домом.

Она говорила это не то чтобы мне, а больше даже воздуху. Пространству.

– Думаешь, его привидение будет теперь рыдать и стенать?

Я знал, что не будет. Это просто дом, но дело было не в доме. Если бы дело было в доме, только в доме, то да. Тут вполне могли бы быть закованные, застрявшие души, или сгустки – кто как их называет, но он бы точно не присоединился бы к их числу. Он выбрал это, путь тапочек и скольжения – может быть заскользил, а может быть и нет – но он не выбрал этот дом. Этот дом всего лишь лестница, у которой есть верх и низ.

– Такие вещи просто так не происходят, – сказала она.

И когда я промолчал, повторила.

– Такие вещи просто так не происходят.

Молчание.

14.

Этот дом – замочная скважина, а люди в нем – это ключ. Каждый из нас – ключ к своей собственной скважине, главное только вставить его достаточно глубоко и провернуть столько раз, сколько нужно.

Восемьдесят квартир. Теперь я знаю почти всех. Кого-то я как будто знал раньше, а потом забыл. Ухватил только некоторые их привычки, увидел стеклышко, но не всю мозаику. Странно, но соседей обычно узнаешь с конца – с того, какие они покупают

продукты, с того, как орет ребенок с третьего этажа, и на макушке у него вихры, и он высунул свою, довольно большую, голову в форточку. С того, какие отпечатки оставляют на лестнице грязные ботинки, с того, кто в три ночи все еще не гасит свет. Кто во сколько уходит и приходит, а из каких квартир вообще нет никаких признаков жизни. Бывают и такие – у них у дверей иногда стоят продукты в коричневых пакетах – где в этом городе находятся курьеры, которые поднимают продукты до лестничной площадки? – а потом и пакеты исчезают. И никакого шевеления за дверью. Квартиры без жизни внутри, квартиры, где кто-то весь день и всю ночь лежит в постели и смотрит в потолок. Я мог бы зайти, проверить, посмотреть. Я это умею. Но не хочу. Из таких квартир несет затхлым серым воздухом, а я тороплюсь вернуться к ней.

Когда мы только сюда въехали, мы все время друг на друга орали. Мне даже не стыдно это признать. Орали, пока до нас одновременно не дошло, что через окно наши крики разносятся по всему двору-колодцу, и звук умножается, как в концертном зале с большим оркестром, и весь дом уже наверняка в курсе наших неприятностей. Хотя мы не поэтому прекратили орать – просто адаптировались к друг другу. Ни я, ни она раньше ни с кем не жили, и не обсуждали, будем ли жить – я увидел, когда проезжал мимо, желтого цвета объявление в окне – сдается квартира. Мы сходили посмотреть, высунулись в окно с одной стороны – проспект, с другой стороны – двор, она поглядела на потолок и кивнула – и на следующей неделе мы въехали. Со всем небольшим скарбом, который у меня составлял два чемодана и кое-какую мебель, а у нее целый шкаф одежды, две полки обуви и много-много красивой, разрисованной красками посуды. Посуда в этой квартире уже была, как и мебель, но она аккуратно сложила хозяйские тарелки, чашки и блюда в огромный ящик и засунула на антресоль.

– Пусть лежит. – сказала. – Своя есть.

Все чашки у нее были наперечет – с зайчиками, воздушными шарами, с медвежатами и со снегирями. Я очень старался обращаться с ними аккуратно, и они смотрели на меня и весело подмигивали каждый раз, когда я открывал дверцу кухонного шкафа – ценили, наверно, мое хорошее отношение.

Орать мы перестали, но поначалу звуки этого дома – несмотря на то, что я хотел в нем жить – меня раздражали. Новое жилье это понятно, но я не был готов к тому, что и звуки будут новые. Скрип оконных рам, хлопанье дверей, шаги на лестнице, которые почему-то всегда были громче, когда кто-то сбегал вниз, чем когда кто-то поднимался вверх. Жужжание майских жуков на балконе, воркование голубей между лестничными пролетами – они устраивались в углах и между кирпичами, вили там свои гнезда и настойчиво, с рокотом ворковали по ночам.

– Да сгони ты их, весь пол будет в помете! – кричала она, как только слышала хлопанье крыльев на балконе.

Шум перьев – очередной голубь взмывал в воздух, а потом, попарив совсем немного, тяжело падал вниз.

Одни звуки цеплялись за другие – перестук каблуков, шипение кастрюльного дна, где, пока вода еще не вскипела, собирались белые пузырьки. Пикание, назойливое, настойчивое, которое я спешил приглушить, прежде чем она проснется.

Я начал и опознавать жильцов по звукам – молодого человека из сорок четвертой, потому что он всегда очень громко насвистывал, когда шел по двору, и пел одни и те же две

строчки одной и той же песни: «Оп-оп, наступает весн-а-а-а! Оп-оп, в городе наступает весн-а-а!».

Хотя до весны было еще далеко.

Соседка с первого, которая всегда гремела какими-то то ли банками, то ли бутылками, которые были набиты в ее тележке так, что звякали на каждом шагу. Консьержка – она работала не все часы, только несколько часов утром и изредка, я так и не понял по какому принципу, вечером, ее возня с почтальоном, с которым они каждый раз затевали диалог минут на тридцать, пока не перебирали все те темы, на которые не успели поговорить вчера, включая, по-видимому, то, как каждый из обитателей дома провел ночь. Понятия не имею, как консьержка может быть в курсе того, как кто провел ночь, потому что ночью-то ее тут как раз и нет – но, наверное, либо она настолько рано приходит и уже сидит в своей каморке, что видит, как наутро возвращаются с вечеринок студенты, чьи-то дочери и сыновья проскальзывают, надеясь остаться незамеченными, и первые жильцы уже уходят на работу. Либо, что гораздо более вероятно, ей кто-то доносит. Хотя я сомневаюсь, что тут есть еще кто-то такой же, как и я. В этом плане белобородый был прав – надо быть осторожным, когда открываешь рот, и еще более осторожным, когда проникаешь в чужие квартиры.

15.

Суть поисковиков – как можно догадаться, поиск. В рамках поиска я могу ходить куда угодно. Ну, почти куда угодно. Кое-где ходить просто бессмысленно – там почти наверняка никого нет, да и находиться не очень приятно.

Задание мне дают почти всегда в одном и том же виде – на помятой бумажке, которая всунута между страницами какой-нибудь книжки, в мокрой от дождя будочке для обмена книгами в сквере недалеко от дома. Раньше было в другом сквере, а потом место сменили – тот сквер стали слишком уж часто посещать люди, а этот был спрятан между домами, как школьный пенал, вставленный в узкий промежуток между книжкой и стеной. Там была песочница с серым песком, который, очевидно, уже лет сто никто не менял, скамейка, облезлая от краски, и еще одна, приткнутая почти к самым кустам сирени.

Бумажка обычная. На бумажке либо имя, либо фотография, либо фотография и описание, либо вырезка из статьи или распечатка. Либо, редко, искать надо предмет. В начале работы я иногда просил какую-нибудь личную вещь, но теперь уже почти перестал так делать – это как напеть мелодию, а потом определить ее, отмотав кассету назад. Сейчас я уже и по нотам читаю нормально, и слышать мелодию на слух мне не надо. Только так это можно объяснить.

Срок обычно неделя. Редко когда бывает один-два дня, потому что тогда приходится работать по ночам, а я это не люблю.

В тот день я не спал, и пришел сразу, рано, потому что чувствовал – новое задание есть. Я привык доверять себе, доверять этому чувству, которое летит внутри меня, и я знал, поэтому я сказал ей.

– Мне надо идти.

– Уже?

Потом:

– Работать будешь?

Она не знала многое про мою работу, но знала суть. Она знала, что я ищу людей и вещи.

– Буду. Надо.

Я наклонился и поцеловал ее в раскрытые губы. Я почти не чувствовал вкус, не чувствовал запах – это потому, что он еще здесь. Он стоит и смотрит на нас из угла комнаты, как я не так давно смотрел на него.

Часть вторая. Кругом

16.

Корни всей этой истории там, в моем прошлом, где я на коньках прохожусь по острой грани момента, где я еще не понял, кто я есть. Я еще не решил, рассказать ли мне ее или нет – на самом деле, я пытаюсь уйти от мысли, что ее стоит рассказать. И не в переносном смысле уйти, а буквально – отшагать столько шагов, сколько нужно, чтобы поднести эту почку ко рту, попробовать ее на вкус, провести языком по стеблю. Чтобы я мог взять этот стебель в руки и он не сломался, не согнулся – когда я смотрю на те истории, что уже прошли и случились, мне кажется, что я перегнул, оборвал их слишком резко. Как ломают ветку молодого, живого куста – сразу она не треснет, не ломается, а намочит зеленым соком ладонь, повиснет на волокне, будет цепляться, держаться, и если сил не хватает, то придется долго выкручивать ее, тонкую, совсем молодую, прежде чем она отломится совсем. Так и эта история – повисла и висит, как плеть, но еще не отломила. Она еще часть меня, и где-то пониже сердца сочится зеленый едкий сок. Когда я иду, капли падают на мостовую – на улицах моего города всегда так много людей, что никто этого не замечает. Подумаешь, может кто-то нес рыбу в пакете. Или ручка из школьного портфеля протекла. Или капли краски долетели до противоположного тротуара, пока красили лавку.

Никто и не подумает, что это был я.

17.

Я планировал всю жизнь провести один. Так просто проще. Многие так говорят, но в моем случае это на самом деле правда.

Желание уйти – одно из самых сильных, самых фундаментальных моих желаний. Если человек построен из того, чего он хочет, чем тяготится и что выбирает, то желание уйти внутри меня – это плита, вставленная в самый центр и обмазанная по бокам цементом. На это чувство – мне надо вырваться, вывернуться, отдалиться – всегда можно было рассчитывать, потому что оно всегда появлялось, поздно или рано.

Я рос с этим чувством – с тем, что расстояние между мной и предметами и мной и людьми необходимо, чтобы получше их рассмотреть. Картина не красива вблизи, она красива только на расстоянии. Лицо вблизи расплывается на оттенок кожи, блеск глаз, пятно на кончике носа, а издали собирается обратно.

Чтобы судить о чем-нибудь, если, конечно, ты вынужден судить, надо хотя бы немного, но отойти. Чтобы забыть кого-то, надо отойти. Чтобы соскучиться, надо отойти. Я думал раньше, что любовь так и работает – ты далеко, и тебе начинает ее не хватать, а потом вы близко, и тебе начинает не хватать себя. Это тоже оказалось не так.

18.

Прямо перед тем, как встретил ее, я оказался в пустоте. Не могу сказать, что пустота меня пугала. Совсем нет – с моей привычкой рассекать город я думал, что это занятие займет меня насовсем. Я найду себе сюжет, и просто буду прыгать из одной истории в другую – с той разницей, что это будут не мои истории.

Когда мы познакомились, у нее, кажется, был другой. «Кажется» потому, что я никогда не обращал на него особого внимания – ясно было, что он, конечно, с ней, но на самом деле он не с ней.

Я пришел на вечеринку – не помню как, не знаю зачем и кто меня пригласил, я тогда был куда моложе и не так уж и много думал о своих решениях, и увидел, как он сидит с ней рядом, приобняв ее за плечи, и смотрит на всех остальных враждебно из-за сомкнутых бровей, которые нахмурены в одну густую черную линию. Он прижимал ее к себе, поминутно пытался поцеловать – целился в губы, но она каждый раз подставляла щеку и мягко улыбалась, поглаживая его по коленке, которой он мелко тряс.

– Принести тебе что-то? Хочешь?

Он заглядывал ей в лицо, как под абажур лампы, с нервным любопытством и немного снизу вверх, а она смотрела мимо него. Не то чтобы думала о чем-то другом – она слушала, и внимательно, но видно было, что глаза её смотрят куда-то вовне, за раму картины, за круг, который он так старается замкнуть.

Тогда я и увидел ее в первый раз. На ней было кремовое платье, чуть длиннее колена, шелковое, и больше цвета сливок, а иногда, в тамошнем освещении, даже цвета крем-брюле, и белые туфли и на высоких каблуках.

В ней было что-то такое, что притягивало взгляд. Я еще тогда это заметил.

Где бы в квартире она ни была, ее тогдашний парень всегда старался быть рядом. Или маячил у нее за плечом, или касался бедра, или, когда она просила не ходить за ней по пятам, не отрывал взгляда от ее платья, или затылка, или туфли, которая виднелась из-за угла, пока она разговаривала с хозяйкой. Он никого не видел, кроме нее, и я даже позавидовал – должно быть, одиноко в этом коридоре, где все гости появляются и исчезают только тогда, когда разговаривают с ней.

Она выворачивалась из-под его руки, шла налить себе еще, смеялась. Потом, видимо, почувствовав вину, садилась рядом – он сразу загорался, обвивал ее обеими руками и прижимал к себе.

– Но как будто не может удержать, да? – сказал шаловливый голос рядом со мной.

Я повернул голову, но голос уже исчез.

Вот в тебя попало-то, приятель, думал я, потягивая нечто вроде подслащенной воды, которую мне в руку сунула хозяйка вечера. Даже отсюда было видно, что ему не расковырять, не вскрыть этот тикающий механизм. Она уйдет – на воздух, на свободу, на свет, а его ревность мигом обратится в ребяческую ярость. Потрясая картонным мечом, он даже попытается ее вернуть – но так, скорее пробуя боль на вкус, чем испытывая ее по-настоящему.

Она же игрушечная, эта его боль. Она скоро пройдет.

А шаловливый голос скоро вернулся.

Чего и следовало ожидать.

Бывают такие женщины... со временем, далеко не сразу, но я научился их различать. С виду они веселы и распахнуты, даже слишком, как будто упаковку надорвали больше чем нужно, и все их чувства высыпались наружу. Я относительно часто их вижу и называю женщинами наизнанку. Заранее вывернутыми женщинами.

У них обязательно есть что-то в прошлом. У всех женщин есть что-то в прошлом, и, честно говоря, они сами рано или поздно указывают, что именно. Но у заранее вывернутых женщин есть что-то такое, куда тыкнули, расковыряли и заставили показать то, чего показывать не следует. Их продавили, и они поддались, вмялись в себя, а обратно не распрямились. Они смотрят на тебя блестящими глазами, обшаривают твое лицо, следят, блуждает ли твой взгляд по комнате или цепляется, возвращаясь, за тонкую бретельку их лифа.

Им почему-то очень важно почувствовать, что ты хочешь их – прямо здесь и сейчас. Им хочется, чтобы их хотели все – каждый, кто сидит напротив в метро, каждый, кто взбирается на стул у барной стойки, каждый, кого они случайно касаются бедром.

Короткая, острая вспышка.

Попался, да?

Попался.

Она села рядом.

– Жаль его, – сказала она. – Так страдает. И все зря. Она на следующей же неделе от него избавится. Вы ее знаете?

Клубок меха, блестящие серьги, которые совершенно не шли к ее бледно-зеленым волосам, цвета отлива в море. Она сильно опоздала, но сразу же, не стянув даже меха с плеч, нашла хозяйку взглядом и, взвизгнув, бросилась ей на шею. Та улыбнулась сдержанно и начала что-то говорить, размахивая в воздухе рукой.

– Ладно, ладно...

– Это ничего...

– Да нет, что ты!

А русалка – я сразу ее так назвал – уткнулась ей в плечо, как ребенок, и никак не хотела отпускать.

Когда они, наконец, расцепились, зеленоволосая тут же принялась что-то говорить, быстро и без остановки, не выпуская хозяйкиного запястья из своего. Я видел, как той хотелось отойти, но она вежливо слушала, пока та подпрыгивала на месте, рылась в сумке, пищала от восторга, потом, наконец, стащила с шеи шарф и швырнула его на диван. Это был маленький спектакль, и я не был уверен, для кого – может, для мужчин, которые все, как по команде, повернулись к ней, а может, такие спектакли случались везде, куда бы она ни пришла.

– Ты здесь в первый раз?

Я скосил на нее взгляд.

Платье было ей слегка велико, и между тканью в низком вырезе и бледной кожей на груди был зазор. Она сидела вполоборота, и сверху мне было видно очень много – и родинку на скуле, и нежную рябь у подмышки.

Глаза у нее оказались темные, гораздо темнее, чем я ожидал – я думал, они будут совсем прозрачные и водянистые, но они были черные и жадные, такие жадные, что ловили и сохраняли в себе каждый похотливый взгляд. Никто не учил ее позировать, давая себя рассмотреть – но она все равно позировала, позировала примерно каждую минуту.

– В первый, – коротко сказал я.

– И как? – она закинула ногу на ногу, так, что подол платья немного сполз вверх. – Нравится наша компания?

Я повернул голову еще немного.

Я должен был ответить «Очень».

По всем правилам я должен был ответить «Очень».

И она должна была улыбнуться мне в ответ.

Положить голову мне на плечо. Или, что еще интереснее, руку мне на колено.

Музыка вечеринки должна была стать все тише, а ток крови в моей голове все громче и громче.

Все так несложно. Все, черт возьми, так несложно с того самого момента, когда они сами к тебе подсаживаются.

Рука запястьем вверх. Взгляд из-под сильно накрашенных ресниц. Ритм все быстрее и быстрее, и пол дрожит, и оконные рамы дрожат, и звезды за занавеской тоже дрожат. Не уходи с вечеринки в одиночестве – кое-кто смеется, не отклоняясь, прямо мне в лицо, и в нос мне шибает запахом изо рта, и я вижу его отвратительные желтые зубы.

Я чувствую, что взгляд той, другой, в белом платье и белых туфлях, уперся мне в затылок. Он буравит мне кожу, и это место начинает чесаться – чем дальше, тем больше хочется обернуться и встретиться с ней глазами.

Интересная игра, думаю я.

Опасная, но небезынтересная.

19.

– Слушай, мне надо идти, – говорю я русалке.

– Идти? – она откидывает голову назад и заходится смехом. Смех у нее тоже отработан, он высокий и хрустальный, и изгиб шеи, запрокинутой назад, в которую почему-то хочется вцепиться пятерней. Вцепиться и сдавливать до тех пор, пока она не перестанет смеяться.

Она резко прекращает смеяться, когда понимает, что я не шучу.

– Иди, – говорит она безразлично. – Раз уж тебе так на-а-а-до.

– Оставить тебе что-нибудь на память?

– Что?

Она наклоняется поближе ко мне, улыбается и достает из-за уха красный цветок. Маленький красный цветок-заколку.

– Зачем мне...?

– Не знаю. – она пожимает плечами. – Я просто такая. Люблю делать всякое. Неожиданное.

Она многозначительно смотрит на меня.

Я снова должен принять подачу.

Я снова не хочу.

Пока я медлю, одна бретелька, как будто случайно, спадает у нее с мраморного и, я почти уверен, холодного, как змеиная кожа, плеча. Не сводя глаз с моего лица, она неспешно возвращает ее на место.

– Знаешь, – произносит она медленно. – Раньше заколкой можно было и убить.

– Хочешь убить меня заколкой?

Ее глаза блестят. Хитро переливается серьга.

– Хорошо проводите время?

Ее голос сзади.

– Отлично! – русалка откидывается. – Просто отлично, дорогая.

– Торопись соблазнить моего нового знакомого?

Она мотнула головой – зеленая волна – и, скривив шею, обернулась. Та стояла, сложив руки на груди – белое платье переливается в свете ламп – слегка позади меня. Почти прямо за мой спиной.

– А... что?

Она снова засмеялась, на этот раз хрипло и, как мне показалось, с досадой.

– Ты же здесь со своим молодым человеком, так? Как у него дела? Как новая работа?

– Его работа прекрасно. Сделает прекрасную карьеру.

– Я рада, дорогая. Вы отличная пара.

Я поднялся. Надо было уходить.

20.

Когда я сейчас думаю об этом, то думаю, что тогда, там, именно в том моменте находится завязь моей истории. Я никогда не смогу объяснить, почему с того вечера, когда я увидел ее в первый раз, мы оказались по одну сторону мира, а все остальные по другую.

Даже та русалка. Хотя она не была слабым противником.

По всем правилам я должен был пойти с ней. Мраморная кожа, полуголая грудь, волна волос и красивый разрез рта. Я должен был пойти с ней. Я должен был поддаться. Я чувствовал, что она почти уже готова сбавить цену, поддеть мою ногу носком своего ботинка и вдруг застенчиво, скромно улыбнуться мне – доверчиво и нежно, только не на самом деле, а так, как улыбаются русалки перед тем, как утащить тебя вглубь.

– Я думала, ты с ней уедешь. – сказала она.

Мы стояли вдвоем у подъезда. Пока она надевала пальто, я видел, как впились в брючную коленку пальцы ее кавалера. Длинные, с крупными костяшками, нервные пальцы. Я кивнул на них – она обернулась и посмотрела, быстро и виновато, как мать на кассе в супермаркете – подожди, милый, я только расплачусь.

Я стоял и вдыхал ночной мокрый воздух, задрал голову вверх, а вокруг были здания – промышленный район, одни прямоугольники и квадраты. За светом фонарей небо было абсолютно черным. Нельзя было хоть что-нибудь разглядеть.

– Я и не планировал с ней уезжать.

– Тогда с кем?

– С тобой?

Она стояла и задумчиво смотрела прямо перед собой.

Потом кивнула на темную машину, стоящую неподалеку.

– Твоя?

– Да.

– Тогда поехали?

Она зевнула. В желтых и черных полосах, которые проходились по нашим лицам, трудно было разглядеть выражение ее лица. Я вел машину и смотрел на дорогу.

Она не спросила, куда мы едем.

– Я еще до вечеринки я ему сказала, что все. Мы встречались всего месяц. Нас подруга... свела. А, впрочем, какая разница. – она помотала головой. – Расстались.

В конце концов мы приехали, и я припарковал машину. Повернулся к ней.

– Как тебя...

Она подалась ко мне, и я не закончил фразу.

Я все еще вижу ее лицо тогда, в машине – вижу в профиль, вижу в три четверти, ее глаза – очень крупно, с неровной черной линией по краю века. Вижу, как опускаются ее ресницы, вижу, как она двумя пальцами заправляет за ухо прядь волос. У меня плохая память на детали, выборочная и плохая, но иногда они вдруг сами начинают показываться мне – как она смотрела на меня, и полосы шли по ее лицу, и почему-то капли по стеклу, продолговатые – из-под колес. Я беру ее рукой за подбородок и поворачиваю к себе, нет, это было в другой раз, я рассматриваю ее почти с сожалением.

Почему так, а, скажи, почему – она смотрит вопросительно, но не уклоняясь. Не откидываясь подалась от световых полос.

Тогда все и началось. А позже появился дом, гораздо позже. А еще позже дома появились соседи. И профессия. Профессия была другая, потом сменилась. То, что было внутри меня, стало только сильнее, а по мере того, как оно стало сильнее, оно стало занимать в моей жизни – и во мне самом – все больше места.

21.

Так.

Я вынул из книжки мокрую бумажку и, нахмурившись, смотрел на нее.

Этого товарища я уже где-то видел – или, во всяком случае, его лицо, с очень резкими чертами, левый глаз прикрыт прядью иссиня-черных волос, казалось мне знакомым. У него были немного монгольские черты, величественные и одновременно жестокие, но жестокость в данном случае меня не волновала. Когда я кого-нибудь ищу, мне не надо брать их с поличным. Надо только достаточно четко указать, где именно они находятся.

Я какое-то время смотрел на фотографию и кратенькое описание. Мужчина, сорок два года, национальность... понятно.

Они никогда не пишут, почему их разыскивают. Никогда не пишут об их преступлениях, если они совершили преступление. Считают, что поисковикам не полагается об этом знать.

В конце концов я положил листок в карман и закрыл дверцу ящика. В нем лежало, наверное, штук десять книг, может пятнадцать – все потрепанные, потертые от времени и отсыревшие.

Это было как заданный вопрос – где его искать. Где, где, где. Где? Ты еще не знаешь весь ответ, но ты знаешь начало, и ты знаешь, куда указывает стрелка. Именно оттуда и надо начинать.

22.

Чисто теоретически товарищ мог бы быть во многих местах. Но я, как обычно, начал с самого вероятного.

Свои любимые маршруты я берегу – не трачу их все сразу, перебираю пальцами, бренчу и поглаживаю. Некоторые, как ленты, извиваются и льнут к речным берегам, на других скользят автобусы, третьи вскрыли и провели вдоль дорог чем-то острым – вспороли окна, двери, груды вещей и серые лица, без всякого выражения, такие же, как иногда

мелькают внутри окон нашего дома. Как будто мякоть всю вычерпали огромной ложкой, осталась только кожа. Они живут внутри чего-то, что однажды было живым.

Я начал с дальних, выметенных и выеденных кварталов. Я видел и хуже – дома с чернотой внутри, сожженные стены и потолки, выкорчеванные двери. Внутри черно, и то, где некогда жили люди, превращается в плоскую декорацию. Через окна видно небо, оно показывается на глаза, просвечивает с другой стороны. Дома стоят рядом друг с другом, как воткнутые в землю горелые обломки.

Город иногда говорит мне посмотреть поближе. Вернее, нет – не то чтобы он говорит, но как будто притягивает мой взгляд к каким-то вещам и отводит – от других. Я всегда думал, что рассматривал людей и вещи невнимательно – глянул тут, глянул там, но на самом деле я просто всегда ищу важное, а чтобы заметить важное, пялиться не надо.

Что остается у человека тогда, когда из мира вещей у него больше ничего нет? Нет кастрюли, в которой он привык варить суп. Нет варежки, снимаемой со стены прежде, чем пойти посмотреть на снег. Нет дивана, на котором легко заснуть, положив голову на подлокотник. Они были – до того, как камера моргнула и погасла. А потом пленка остановилась.

Щелк – остановите запись. Записи больше нет.

Я иду – людей на улицах нет, почти нет, совсем нет, только ребятишки с очень белыми белками глаз иногда подскакивают, а потом так же убегают обратно в худые подъезды – и думаю о том, что разрушение должно идти изнутри наружу, а не снаружи внутрь, чтобы нанести хоть какой-нибудь ощутимый вред. Я думаю о том, как долго нужно поливать ростки зла, чтобы они уже показались, зеленые, из удобренной земли. Я не из тех, кто заводит случайные разговоры или вдруг вываливает из сумки сразу все, что у него с собой. Я могу отдать свой бутерброд бездомному, я могу пожалеть собаку, которая лежит, сложив передние лапы, и смотрит на меня печальными глазами. Ты не можешь пойти со мной, говорю я ей. Ты не можешь пойти со мной – и она не идет.

Я иду и думаю, что делать с тем, что зло победило. Во всяком случае здесь, среди голых сожженных и так и не отстроенных обратно домов. Что черное перевалилось за отметку «максимум» и теперь плещет через край, что картину, которую рисовали так старательно, так любовно раскрашивали и обводили фигурки, с угла заливает темнотой. Черная клякса – поверхность еще не засохшей краски, расплзшиеся черты, рука, выкинутая вбок, и палки травы. Все собирается и взрывается, расширяется и взрывается, как когда-то взорвался комок вселенной.

Зло побеждает во мне регулярно, но я никогда не верил, понимаете, не верил, что оно победит в таком большом, таком настоящем масштабе.

Зло побеждает во мне, когда ей грустно, а я не хочу ее обнимать. Когда крикливая дочь соседки со второго кривит физиономию и ревет, а я думаю, как поднять что-нибудь с пола, запустить в сторону коляски или ее трещотки-мамаши изо всех сил и выйти из комнаты. Когда я специально наклоняюсь очень близко и говорю что-нибудь такое, от чего по лицу напротив, как разряд, проходит боль – один, которому я так сказал, даже смешно вскочил, уронив графин себе на брюки, и с мокрым пятном так и припустил по улице, даже не поворачиваясь.

Зло побеждает тогда, когда мне не жаль бродячую собаку, что скорчилась у забора и лежит там неподвижно. Когда стравливают людей друг с другом, просто чтобы с наслаждением наблюдать за градом ударов и за тем, как синяки быстро проступают – сбоку на шее, на скуле, как выламываются линии, как стачивается черта. Правда, я давно уже не

бываю там, где такое бывает, потому что мне не нравится ощущать разлитие внутри черной бездонной лужи, которая заливает мне и легкие, и сердце, не дает мне дышать, топит меня, как в пруду, откуда нет выхода, в моем собственном теле.

Может, это оттого, что он прыгнул, как овца, а может, оттого что тот с бородкой у меня спросил, беспокойно заглядывая мне в лицо, а может потому, что ни в одном из здешних подъездов не горит даже лампочка. Но иногда мне кажется, что зло – цунами зла – поднялось над городом, как стена черного цвета, от которой никак не спастись. Я шел и смотрел в небо, и видел, как оно надвигается. Оно везде проникнет, оно перевернет мой стеклянный шар с синим сверху, землистым внизу, оно просочится, пройдет и в воду, и в листья, и даже в ветер – каждый раз он приносит новые истории, но теперь и он будет отдавать горечью, и бросаться мне в глаза осколками металлической пыли.

Когда я был маленьким, я верил, что все пройдет – и все правда пройдет, только тогда я не знал, что кое-что пройдет прямо сквозь меня. От этой волны не удастся уйти – люди останавливаются на перекрестках и смотрят, прикрыв глаза рукой, как все растет и растет гора туч, как небо темнеет, как что-то катится с горизонта, смывая и складывая город – картонные домики возвращаются обратно в книжку.

23.

Его подъезд – крайний из трех в сером полуразрушенном доме.

Я осторожно сел на лавочку рядом с домом. Я могу сделать так, чтобы он меня не заметил, но, честно говоря, мне не хочется делать лишних усилий. Ему сейчас не до меня.

У меня есть, если надо, способность быть незаметным, но сейчас я приткнулся на лавочку, вытянул перед собой ноги и стал задумчиво смотреть на дом. Дом был от меня сбоку слева, поэтому голову приходилось поворачивать. Третий этаж, неосвещенные два крайних окна. Причем между этими двумя окнами – кровать.

По виду там никого не было, и можно было, конечно, подняться и проверить, там он или нет, но в подъезде даже не было перил, осыпалась лестница, и лампочки тоже нигде не горели – поэтому, кроме редких фонарей, свечей и переносных светильников, которые работали без розеток, никакого освещения там не было, а желания сталкиваться с мясистым и здоровым мужиком, который прямо сейчас беспокойно спит на полосатом матрасе, у меня не было никакого.

Людам свойственно строить свой мир из ничего – возводить его там, где до них ничего не было, наполнять его собой так, что не остается дыр. Прямо на земле, на дорожном полотне, стаканы ставят на трансформаторную будку, люди переговариваются, стоя в луже глины, которую размыло недавним дождем. Мимо идет поезд, и они вскидывают головы, смотрят на проносящиеся мимо окна, а потом, поняв, что он не остановится, снова на землю.

Когда идет дождь, черные провалы окон и ветки обожженного куста тяжелеют и становятся почти нежными. Как будто шлюз открывается, и идет дождь, и где-то медленно, оставляя свой влажный след на камне, поднимается вода.

Город мог бы дать им больше, чем дождь – но дает только его, бросает, скривясь, только бы отстали.

Он должен был уехать, подумал я. Должен был бежать отсюда, или хотя бы убраться подальше, на еще более дальние задворки, чем эти. Но благодаря мне – из-за меня? – бежать он, скорее всего, не успеет.

Из подъезда показался парень. Подросток. Тонкий, большая голова на тонких плечиках, перебирает ногами не так чтобы очень ловко – так делают люди, боящиеся

потерять координацию. Болеет, что ли, подумал я, все еще не отрывая взгляда от окон. Или просто не ест?

Парень явно заметил меня, и я ему не понравился. Ничего не сказал, прошел мимо. Я посидел еще немного.

Это только кажется, что человека тяжело найти — на самом деле, если ориентируешься и в городе, это не так уж и тяжело. Я это делаю на чувстве, на векторе внутри, и почти не думаю, как мне это удастся. Иногда, конечно, приходится идти более классическим путем, то есть говорить с окружением, работодателями, любимой, обходить предыдущие адреса, хотя предыдущие адреса в случае людей, которых я ищу — самое гиблое дело.

Иногда приходится еще и расспрашивать и внизу, и вверху, и вообще искать информацию всяческими другими способами, но это я не люблю еще больше, чем по адресам ходить. Я стараюсь не бывать там без особой надобности.

24.

Верх и низ — это измерения города, куда обычно закрыт вход обычным людям, вернее даже не то чтобы закрыт — они его просто не видят, и в лучшем случае не хотят проводить там время. Я их понимаю.

Многим почему-то кажется — и белобородому, уж конечно, так казалось тоже, поэтому он и задавал мне свои интересные вопросы — что или верхние, или нижние пытались прибрать меня к рукам.

Это не так, конечно же.

Там это не принято.

К тому же мной интересуются исключительно в качестве инструмента. И меня это полностью устраивает.

Верх был, пожалуй, скучнее. Я шел там и вертел головой по сторонам, но мне никогда не удавалось все до конца рассмотреть. Кажется, были и арки, и пустые коридоры, и большие залы, наполненные чем-то вроде каталок и конвейеров. Или огромные склады, где ящики выдвигались и задвигались сами собой.

Наверху в те редкие моменты, когда я туда приходил, было пусто. Никого не было, в какую бы дверь я не постучал — везде меня встречала пустота. Это как ходить по огромному офису, где раньше были люди, сновали, обивая пороги, из кабинета в кабинет, спотыкались в покрытых серым линолеумом коридорах, дрыгали ногой, сидя в приемной — а потом одна протяжная, длинная пожарная тревога вымыла их всех наружу. И никого не осталось.

Их работа, в конце концов, была внизу, в городе — и даже там поймать их было непросто, потому что они-то не тряслись на поворотах, не вжимали голову в плечи, а просто плыли туда, куда им нужно было. Никаких опознавательных знаков они не носили, и были вроде агентов под прикрытием, которым за пять минут надо подбросить мысль, обкатать ее немножко рукой и ретироваться.

Зато внизу всегда полно народу.

Вот уж кому было нечего делать — они, развалиясь, сидели, отдыхали, курили — и горлопанили, и никто не думал их усмирять. Там вообще не принято говорить, чтобы вели себя лучше.

Как спустишься, постоянно надо проталкиваться через людей — как через толпу у бара, только два квартала подряд. Кварталы набиты битком, и постоянно кто-то проезжает

мимо на двухэтажной конструкции с колесами, которую и велосипедом-то нельзя назвать. Что-то постоянно лязгает, шипит и грохочет, и нет смысла пытаться перекрычать стоящий там гвалт. Откуда-то доносится музыка, через минуту она сменяется на другую, потом на третью, четвертую – одну мелодию уловить невозможно. В темных углах там постоянно что-то происходит, к этому я тоже уже привык. Иногда попадаются места, со всех сторон окруженные темнотой, и к ним я стараюсь близко не подходить – как в городе к пустырям и глубоким котлованам.

Но хуже всего не там, где темно. Хуже всего там, где все залито электрическим белым светом. Желание вырвать все живое, что есть – вот что там.

В нижнем мире, как и в верхнем, нет краев. У вещей и людей нечеткие границы. Никакой шкалы измерений тоже нет. Каждый рассматривается как уникальный экземпляр, а не в сравнении с другими – причиненное зло, в конце концов, нельзя сравнить с другим причиненным злом. Зло живет здесь постоянно – в той самой размытости границ. В улыбке, которая после пары стаканов становится жестокой.

В нижнем мире на первый и неопытный взгляд интереснее, чем в верхнем. Я тут знаю не всех, да и не все хотят меня знать. Кто-то вообще с радостью вышвырнул бы меня, да только я сам убрался быстрее.

Везде, куда не пойдешь, на тебя насаждает толпа – разница с обычной, городской толпой только в том, что на тротуарах и стенах виднеются сгустки крови и в воздух поднимается черный пар, но никто не обращает на это внимания. Люди то приходят, то уходят, они, подобрав полы длинных вечерних платьев, поднимаются по лестницах и в лифтах наверх. Да, тут заботятся о своем комфорте. Из золотистых краников бежит бурая жидкость, ее наливают в стаканы и раздают всем желающим. Тут много реплик города – зданий, которые вырастают на меня из ниоткуда, широких площадей, на которых раздаются крики – но только нет ни светофоров, ни такси, ни даже какой-нибудь минимальной регулировки движения. Никто даже и не пытается что-нибудь контролировать.

25.

По правде говоря, меня порядком утомляет вся эта свистопляска с очищением через боль. Этот концепт появился вверху, а адаптировали его почему-то внизу, и внизу стали использовать, и, по-моему, никому от этого не лучше.

Когда я иду по грязным кварталам низа – грязным не потому, что фундаменты зданий покрывает слой коричневой жижи, и не потому, что во все углы забивается снег, когда в городе снег, и застывает там, не тая, хотя не таять даже неприлично – при такой-то погоде, когда снежинки падают и исчезают, не касаясь земли. Грязным не потому, что в морщинах и вокруг ртов застыли коричневые разводы, и не потому, что на столе отпечатывается черная пятерня – не поэтому. Когда я иду по грязным кварталам, мой взгляд притягивают не лица, а мусорные баки, кучки, тряпье, полуразбитые цветочные горшки, которые неизвестно почему еще держатся на подоконниках, когда даже ставни уже рассохлись и облетают струпами белой краски. Я смотрю на то, как кривятся тонкие металлические решетки, как на отшпаклеванном, пористом и светлом лице города появляются прыщи. Что-то лишнее. Что-то, что лучше бы спрятать.

Когда я иду по грязным кварталам, и заглядываю под белый свет халяльных магазинов, я думаю, как эти люди переваривают боль. Так же, как купленное там – долго и

медленно, натужно, спотыкаясь и бредя домой, где круглосуточно бормочет телевизор, и жены, переворачивая лепешки в кипящем масле, недовольно покрикивают, а потом, подбоченясь, бьют и бьют непослушное тесто скалкой.

Или, может быть, они не видят боль как боль – просто как потолок, низкий и черный, под которым они вынуждены жить, пригнувшись, никогда не выпрямляясь в полный рост. Всегда немного подсогнув, сгорбив спину и заранее приготовившись извиняться.

А может, боль сделала их нечувствительными – ни к оскорблению, ни к похвале, ни к доброй воле – когда я останавливаюсь и протягиваю им монету, они смотрят на меня пустыми, ослепевшими глазами. Глаза их точно видят меня – не могут не видеть – но не находят. Или, может, они хотели бы найти что-то другое, а находят меня.

Каждый видит то, что хочет видеть. Кто-то не опускает свой взгляд ниже крыш, и только смотрит, как под стеклянными прозрачными квадратами, через которые видно небо, сверкают огни. Кто-то морщится и старается ни к чему не прикасаться, хотя низ уже поглотил его, сглотнул и теперь облизывается, высматривая следующую жертву. Кто-то резко меняет направление, потому что чья-то рука вдруг вылетела из темноты и схватила за локоть, а потом за плечо – подожди, не уходи, куда же ты. Раньше я не замечал этого – город, оказывается, может и остановить. Только меня он никогда не останавливает.

Я совсем не уверен, что боль очищает. Я совсем не уверен, что несчастье очищает. Я совсем не уверен, что через боль можно пройти как через коридор и выйти на другой стороне. Или все-таки можно?

Чтобы горело, так ли уж обязательно самому прыгать в костер. И во время, и после не становится чище – в конце концов, может, остаток боли застревает внутри, как застывший снег. Он упрямо смерзается в комки, лежит и ждет, и твердеет вместо того, чтобы становиться тоньше.

Когда я думаю о боли, то я думаю о том, что она отводит в такое место, где кроме нее больше ничего нет. Последний способ обратить на себя внимание – и если уж говорить про очищение, то счистить, отскоблить ножом нарисованную на холсте фигуру. Сразу всю.

26.

Я был удивлен, когда узнал, что верх и низ пересекаются – многие их тех, кто регулярно бывают в одном, бывают и в другом. Они делают что-то похожее на то, что делаю я – я ведь оказываюсь наверху или внизу не потому, что меня посылают, а потому, что сам выбираю, куда мне пойти. Никто не подталкивает меня в спину, и я не лечу вниз по ступенькам, и не поднимаюсь на невидимом лифте.

Я даже не спрашиваю разрешения. Просто оказываюсь там – и вот, уже шагаю по переполненной улице, заведя за грязным стеклом знакомый оскал. Однажды я долго не был внизу – а вернувшись вдруг увидел, что у всего поменялась форма. Теперь это был не город с забитыми толпой и огромных размеров улицами, а театр – со сценой, оркестровой ямой, светом ламп, которые захватывали даже самые дальние уголки лож.

На галерке толклись люди, и вцеплялись зубами в бутерброды. В гардеробе кто-то шнырял, проверяя карманы. За сценой вились узкие коридорчики, в которых тоже было полным-полно народу. Пахло пудрой, чем-то прогорклым, вроде плавящегося свиного жира, и запахом человеческого тела. Впрочем, им пахло и раньше, я просто не обращал на это особого внимания.

Толпа колыхалась, вставала со своих мест и снова садилась, и знакомых было сложно разглядеть.

– Ты так удивляешься, как будто в первый раз видишь, – сказал мне один, которого я в конце концов выловил на одном из балконов, где он сидел, беспечно раскинув ноги и поглядывая вниз, пока начнется представление.

– Так я в первый раз и вижу, – ответил я.

Он внимательно посмотрел на меня.

– Не-а, – он вытянул шею, перегнувшись через бортик. – Не в первый.

Все думают, что те, кто за верх, и те, кто за низ, часто сталкиваются. Когда выпадает случай за кого-нибудь поспорить, они дерутся и пихаются локтями. Или сидят справа и слева, вроде охранников на суде, и препираются сквозь зубы.

На самом деле это чушь полная – те, что сверху, и те, что снизу, видят друг друга постоянно, но встречаются редко, если не сказать никогда. Примерно как водители автобусов на одном и том же маршруте, которые едут в разные стороны и машут друг другу рукой, проплывая по узкой улице.

Точить лезвия, цедить кровь, сидеть в оркестровой яме. Искать людей, чем я и занимаюсь. Вылавливать и вытаскивать на свет божий, вернее, как божий.

Они бывают разных взглядов и разных специальностей. Лезвия – не самый их любимый способ. Тыкать поострее в то, что больше всего, слишком просто, чтобы можно было получить хоть какую-нибудь радость. Понятно, что по запросу они сделают и не это – сдерут с любого желающего шкуру, предложат ему таблетку, всего одну, чтобы забыть, и любезно улыбнутся ему – и мне – желтыми зубами.

Они повсюду, и я к ним равнодушен. Их работа – куда как проще, чем у верхних, зато интереснее – черная фигура посреди танцпола, еще одна прислонилась к стене в узком вонючем коридоре между двумя домами, одну я вижу краем глаза, пока она по красным ступенькам скользит вверх, поднимаясь в город, втыкая каблук точно по краю. Иногда они просто забавляются – подкладывают таблетки, кому не следовало бы, прыскают в лицо острой грустью, которая у них всегда с собой, втыкают иглы в сиденья, рвут бумаги. Подстраивают все так, как будто это несчастный случай. Им забавно смотреть, как веселый еще две минуты назад человек закрывает ладонями лицо и выбывает из игры.

Они из тех, кто способен выполнять любые желания, но их это уже не забавляет. Желания, да и секреты тоже, у людей не меняются столетиями – хоть бы одному взбрело в голову пожелать что-то новенькое.

Одна даже пожаловалась мне, когда мы случайно пересеклись внизу – я уходил, а она только заходила, – что перестали меняться даже слова. Всем настолько хочется быть уникальными, что они повторяют друг за другом одно и то же, понимаешь, повторяют, сказала она с издевкой, отбрасывая в сторону очередную спущенную шкуру.

– Ну не идиоты ли?

Она опрокинула стакан – на горле татуировка.

Выискивать тех, кому надо причинить боль, и потом нащупывать, как именно – вначале это даже забавно, но когда они повторяют это много, много, много раз, то поневоле начинают смотреть на это с презрением. Сколько раз я видел, как они безразлично стоят и

считают секунды, и ждут, пока их жертва, нокаутированная болью, отклеит лицо от пола и поднимется, чтобы продолжать.

Не передать, как их веселит наивная надежда на то, что следующего раунда не будет. Как они визжат, следя за дураками, которые у всех подряд спрашивают, когда это закончится. Чей палец скользит по газетной колонке, по экрану, набирает дрожащее «Скажите, когда мне ждать...», ища день, до которого им надо дотерпеть, день, когда от них отступит несчастье. О, голубчик, хихикают они, с чего же ты, соколик, подумал, что несчастье пройдет. Я уходить не собираюсь, насвистывают они жертве на ухо, и та беспокойно дергается и переворачивается, мотая головой и бормоча во сне.

Иногда эта работа их почти раздражает.

– Ну вот подумай, – сказал тот, которого я нашел на балконе. – Бывают такие, кого ни хорошим, ни плохим не примешь. Пошли кого-то еще, и я тебе гарантирую – результат будет тот же самый.

– Да ладно, – ответил другой, потянувшись за вторым стаканом. – Ты что, все попробовал?

Когда они только начинают эту работу, то видят всех, кто проходят через их руки, как вереницу одинаковых имбирных человечков. Что может быть милее – подсохшее тесто, которое они отскабливают от противня железной лопаткой. Сломать руку имбирному человечку совсем не сложно – надо только зажать двумя пальцами тельце, и отломить ее. На себя, и вниз. Останется неровный край.

Человечек, от которого уже что-нибудь отломали, так и остается поломанным. Он уже не похож на своих по-рождественски нарядных собратьев. Можно, конечно, оторвать руку и кому-нибудь другому, но куда проще продолжать ломать его.

Есть много способов мучить имбирных человечков, и, как я уже сказал, они работают на всех – фигурки ведь похожи друг на друга. Тут и там блещут пятна красной глазури. Она еще не успела застыть.

Не знаю, кто их этому научил. Мучения могут идти как изнутри, так и снаружи – это одно из правил, которому они учатся первыми. Сварить жертву в собственном соку, в растворе из посаженного когда-то горького семечка обиды – вот что доставляет им наибольшее удовольствие.

– Откуда-то должна упасть капля надежды, друг мой, – сказал мне один, разделявая мясо на волокна.

Он сгреб внутренности в пластмассовое ведро.

– Да? – спросил я.

Я смотрел на внутренности равнодушно, как на остывшую разделанную курицу.

– Да. – Он пожал плечами. – Сколько же дерьма в них, а.

– В тебе не меньше.

– Да, – согласился он легко и оскалился, обнажив зубы. – Во мне так даже и больше.

27.

В конце концов мне приходится подняться с лавочки, на которой я сижу. Ноги у меня затекли, поясница стынет, а этот шкет скоро выйдет из подъезда, вот буквально уже с минуты на минуту.

У тех кварталов, где все вымело и выело наружу, тоже есть жители. Не он, я имею в виду не тех, кто здесь только скрывается.

Чаще всего я вижу жителей таких районов в метро. Когда они ходят по вагонам, согнувшись пополам и скуля, то обязательно суют мне в лицо свои стаканчики, в которых позвякивает мелочь, касаются меня пальцем, вдруг приближают свои черные лица к моему. У них подтекшие глаза и взгляд плывущего в толще воды, и они ковыляют, раскачиваясь, среди пассажиров, и поют свои несвязные писклявые песни, заглушая громкую связь.

Огоньки станций загораются и гаснут, мимо несутся грязные стены, исписанные черными маркерами, стертые слова старательно выводят опять; пути, которые задвигаются и уходят вбок; входы в туннели, там, где не зажигается свет. Конец платформы – узкая полоска, выкрашенная в желтый свет, и каменные ступеньки, спуск в полость, где прокатываешься раз, как шарик, и исчезаешь в лабиринте.

Мимо нас проносятся платформы, заваленные досками и латунными буквами. Огонь, который горит где-то далеко – я редко пользуюсь своим правом на выход, не хожу смотреть, что там.

Они ковыляют вперед, хватаясь за поручни и плечи, с которых раздраженно стряхивают их руки все новые и новые пассажиры. Все делают вид, что не заметили их. Раздавленное насекомое, одна выступившая капля крови там, где оно проползло до того, как его задавили. Сложно жить, когда ты и есть то самое насекомое, и тебя вот-вот прихлопнут, но ты все ползешь, ползешь и ползешь.

В тех кварталах, где черная бритва прошла по заднику, где ввалились окна, где на пустой кухне осталась сковородка с прилипшей к ней затвердевшей массой, было их место. Где чай в стакане, кажется, еще немного плещется, и испарина еще на сошла с толстых стенок. Вон тапочки, вон зеркало, куда кто-то смотрелся, когда брился, вот жилет, который он всегда надевал на работу, когда у него еще была работа – но где он сам?

Там, где что-то прокатилось и выдрало людей оттуда, где они должны были быть, из их предыдущей жизни, и швырнуло вниз, выбросило в вагоны метро, на платформы метро, заставило прятаться, прижиматься носом к поезднему стеклу и думать – куда я еду?

Я смотрел и думал – уж если и есть бог, о котором так толкует белобородый, то, уж наверное, он отвернул свое лицо, он смотрел в этот момент в другую сторону, потому что как же иначе, он следил за тем, как пролетают мимо сигнальные огни, пока кто-то протягивал к нему руку, касался его лацкана пальцем, тыкал в плечо своим мятым бумажным стаканчиком, который дрожал в руке. Пока кто-то смотрел на его профиль, отвернутый в сторону и брезгливый, смотрел жадно, настойчиво, надеясь выпросить хоть один взгляд глаза в глаза.

Если бы он только видел эти груды трухи и черноты, которые от них остались. Если бы он повернулся хотя бы немного, как поворачиваются к надоедливому собеседнику в маршрутке, который все тербит своими вопросами, все докучает: «Ну, а вы? А вы?»

Он повернулся и увидел бы, как дом становится декорацией, как взлетает в облаке огня все то, на что ты когда-то смотрел с любовью.

Я знаю наверняка, о чем они молят – быть увиденными. Снова увидеть солнце, не быть в жерле смерча хотя бы только этот раз. Они обещали, что исправят все то, о чем ты их просил, что будут верить теперь, только если ты убережешь эту иглу, что выбивает им окна, срывает со стен обои, и достает их, до сердца, опять, и опять, и опять. Убери ее от меня – они сильно сжимают на груди ладони, ворочаются и обнимают себя обеими руками за бока, чтобы туда, внутрь, ей было сложнее добраться.

Каждый из них – каждый – и не вообразил бы, что станет тыкаться к нему, надоедая, со своим бумажным стаканчиком, в котором собрано не так уж и много. Каждый не думал,

что станет закрывать глаза и представлять, что бог здесь, он почти лежит рядом на полу, или улыбается, поднимаясь из метро вверх. Может быть, он посмотрит в них наконец, и кольца смерча отступят, и больше не будет закладывать в ушах.

Возвратясь домой, они обнаружат и запотевший стакан, и налипшую кашу, и даже тапочки – и там, прямо там начнут дышать ровнее, и костяшками пальцев вытрут слезы, и даже смогут заснуть – а потом проснутся и будут слушать, как я слушаю, как поезд свистит в тоннеле и несется вперед.

28.

Но есть и те, у кого не получилось. Это и их город тоже, только никто не знает, что они еще здесь. Они в запунктирной зоне, они становятся похожими на полупрозрачные фигуры, и надо моргнуть два раза, чтобы убедиться, что видишь их на самом деле.

Но они здесь. Их голодные глаза с очень белыми белками, цепляющиеся за края юбок и загорелые щиколотки, если одна попадется им на глаза. Их поднятые руки и согнутые спины, когда они наклоняются к стеклам машин, а потом снова выпрямляются и идут, пошатываясь, по шоссе.

Начинается все всегда невинно – не обязательно даже заполнять в их жизни дыры, достаточно просто дать о них забыть. Подсадить отчаянных вообще ничего не стоит – вывести их наружу, туда, где все, что их мучило, скроется за коричневым туманом, за мутным стеклом, в которое сколько ни заглядывай – ничего не видно. Они будут стоять на траве за окном и глотать ртом воздух, и в голове у них вдруг станет пусто, волшебнo пусто, так пусто, что не проскочит ни одна мысль.

Потом они отдадут что угодно за то, чтобы еще раз побывать в этой пустоте. Там их мозг не способен их сжать, не способен причинить им боль – они путешествуют туда, куда никто до этого не отправлялся, и вдалеке виднеются флажки, синие и красные, как на высокой крепостной стене, и солнце, обвитое радужными полосами рассвета.

Они живут на полях – кто дальше, кто ближе, смотря сколько успели прошагать. Мой глаз выцепляет тех из них, кто готов свалиться на месте – это просто. Тонкие фигуры и ввалившиеся глаза, и эти съежившиеся позы людей, у которых нет своего места. Может быть, они согнутся пополам на парковке позади крупного торгового центра, а может быть, упадут у забора, металлическая чешуя которого поблескивает в темноте. А может быть, они будут идти сквозь ночь, сквозь утро, пошатываясь, спешить, стучать зубами, все для того, чтобы уйти далеко за пунктир, и протянуть руку там, где больше никто не увидит их стыда.

Их жизнь – это жизнь теней, жизнь тех, кто оборачивается в тумане и не видит никого, кто шел бы за ним, и никого, кто идет им навстречу. Иногда есть точки на тыльной стороне их рук, выпирающие вены, мутная взвесь в голове, но иногда нет и этого – только трава и асфальт. Верх и низ, земля и небо, травинка номер один и травинка номер два. Они видят только сам туман, и то, как вдали по шоссе едут машины, и такие же, как они, тени идут между машинами, лавируя в бесконечном потоке.

Я усмехаюсь. Черная ложка высунулась и выскребла все внутренности, и город не просыпается вместе с ними. И потом – они никогда не спят.

29.

Город от меня ничего не прячет. Граница между белым и черным, сытым и скрученным от голода проходит по улицам как пунктир. Я иду и смотрю на то, как они собираются на углах улиц, как переговариваются, как окидывают взглядом чужих. Им

всегда нужно быть по двое, по трое, чтобы чувствовать себя целыми – как будто для одного человека улица слишком пуста, и он спешит куда-то, где его снова проглотит толпа. В музее я как-то видел подобное – у них была одна грудная клетка, один набор ребер, одна привычка шумно задерживать дыхание. Они вместе думают, перебрасывают друг другу то, что хотели сказать, они лежат валетом в слишком узких кроватях без простыней, они сидят рядом на бордюрах и на траве, они хватают друг друга за локти в автобусе, хлопают по плечу, ставя на тротуар замызганный пластмассовый табурет, на котором проведут, ссутулясь, все время до заката.

Я не могу отличить их друг от друга, как будто они уже появляются на свет такие – приклеенные. Серое разварившееся тесто – тыкаешь, тыкаешь в бульон ложкой, но их не отцепить друг от друга, и они кружатся в кипятке, дразнясь и шипя. Столиков здесь нет, нет и нарядного цвета террас, и огоньков, и дорогого стекла, и атлантов, что смотрят озабоченно вниз – только примятая трава и асфальт, заборы из проволоки и дорожная пыль. Они научены тем, что там, где витает запах ирисов и лилий, где распускаются тюльпаны, где продают сладкую вату и плывет в воздухе карусель – там их не замечают. Они есть и там, они везде есть – в конце концов, они такие же жители города, как и все остальные, но они толкуются там невидимой толпой, и если на них и смотрят, то с удивлением, как будто безмолвно спрашивая, как они тут оказались. За этим они и держатся вместе, и трогают друг друга за плечи, и окликают громкими гортанными голосами – затем, чтобы их не унесло в тот мир. Где их не ненавидят, нет – они недостаточно важны, чтобы вызвать ненависть.

Я иду не спеша. Небо сейчас высокое и синее, вздернутое над моей головой, а на улицах выстраиваются в ряд остроконечные белые палатки. Внутри у них блестит серебро, отливают края молочно-белых тарелок, громоздятся расписные заварочные чайники. Мимо них приятно проходить – торговцы отдыхают, развалившись на складных стульях и задумчиво глядя в небо. Можно сидеть в столбе солнечного света, зажмурив глаза, но иногда, прищурившись, все же бросать взгляд на прохожих.

Будь счастлив, говорит солнце. Я тебя согрею, а ты будь, пожалуйста, счастлив. А я иду вперед, и напряжение никак не исчезает. Солнце не растворяет его, а только немного подтапливает, и оно чуть плавится по краям, но не перестает колоть меня изнутри. Я не хочу думать о том, что внутри – но все же приходится. Все же приходится представлять все то, что там раскинулось – или, может быть, сжалось. Я думаю об этом, но совсем кратко – красные внутренности, подернутые кровью, скользкие, уворачивающиеся из-под моих пальцев.

Ходьба научила меня еще и вот чему – если ты по-настоящему хотел сделать только сотый шаг, и только он имел для тебя смысл, то предыдущие девяносто девять сделать все равно придется. Без них сотый не был бы сотым. Какой шаг будет тем самым, я заранее не знал. Но один из них, может быть, десятый, а может быть, миллионный, будет. Мне только пообещали джокера в колоде, солнечный луч за тучами, понять, найти – и я кивнул, и теперь я иду.

Каждый раз, когда мне нужен ответ, город вкладывает мне его в руку – но иногда мне хочется скомкать бумажку и выбросить, не читая.

30.

– Ты вечно ходишь ужасно долго.

– Да ладно.

Она ополоснула руки под краном и подбородком показала на стол.

– Салат. Давай.

Я взял в руки нож и придвинул к себе пачку с зеленью.

– Я каждый раз переживаю, что с тобой что-то случится.

– Со мной ничего не случится. – сказал я.

– Ты уверен?

Первый раз я сказал ей, что люблю ее, тоже на кухне.

Она резала морковь. Был вечер, и она стояла, как сейчас, и спиной ко мне – на виске серая тень, волосы падали вперед, и она смотрела вниз, на разделочную доску. Фартук с бантом на спине – в голую кожу на боку врезается тонкая белая лента.

Пальцы у нее были мокрые, свитер задрался, и волосы спутались там, где она часто заправляла их за ухо. Вид у нее был усталый, как у кого-то, кто уже смирился со своей усталостью и теперь плывет посреди нее спокойно, мерно взмахивая веслом. Река усталости никогда не кончится – во всяком случае, не тут, не на кухне, освещенной светом двух лампочек, к которым я все никак не могу прикрепить абажуры.

– Я тебя люблю.

Она остановилась. Положила нож на разделочную доску. Вскинула голову – она выглядела теперь почему-то не усталой, она выглядела свободной. Посмотрела в окно.

– Я тебя тоже люблю.

Слова дошли до меня не сразу. Конечно, она уже говорила это раньше, и я уже раньше это говорил, или мне только казалось? От того момента, когда она сказала «люблю», добро, твердо и как нечто само собой разумеющееся, до того, как я понял, что она сказала, я прошагал много шагов, заглянул во много переулков, побывал в жизнях у многих людей и в конце концов вернулся в свою собственную жизнь.

Она дорезала – аккуратными ломтиками – и ножом, надавив на лезвие сверху, разрешила лук на две части. Улыбнулась мне.

– Может, не настолько я и люблю готовить.

Протянула руку и нажала кнопку на чайнике.

Я двумя пальцами достал из коробки пакетик, положил и начал наливать кипятка – она любила пить чай горячим, таким, чтобы обжигал, – как она снова повернулась и, отирая тыльной стороной руки слезы от лука, спросила.

– Если любишь, почему вечно ходишь по ночам?

– Работа у меня такая.

– Ну да. Работа.

– Ты знаешь, что работа.

Она усмехнулась.

– Давай сюда чашку.

31.

– У тебя вид какой-то странный.

Я отдал информацию – быстро, технично и как всегда. Я снялся с той лавочки, и она растаяла в темноте. И тот дом, и тот квартал – до следующего визита.

Я пришел домой относительно рано, очень рано, потому что, сколько бы я ни ходил, сколько бы ни кружил, мои мысли возвращались к нему.

Интересно было бы узнать, задание мне дали до или после того, как это случилось. Хотя человек на фотографии и человек на подоконнике были не связаны никак. Кроме как мной.

– Думаешь о нем? – спросила она.
– Да.
Она подтянула рукав кофты повыше.
– Одна моя подруга тоже пыталась. Давно. Я уже и забыла. Пока сегодня не... не вспомнила.
– Кто?
Она назвала имя той русалки.
– Да ладно.
– Да. Она тогда была с бывшим. Мы еще... дружили. Он собирался от нее уйти.
– И что?
Чай был горький, и я добавил туда сахару, крупинки которого еще оставались в сахарнице, сдвинутой на самый угол стола.
– Она наглоталась каких-то таблеток. Просроченных, всех, что были. Сама не понимала, что делала. Глупо так... Мать ее потом к ней в больницу ездила. Ругалась последними словами.
– И что? Он вернулся?
– Шутишь! Один раз к ней приехал, и то мать заставила, а после уже не появлялся. Она покачала головой и подлила себе еще чаю.
– Я все равно не понимаю, зачем это делать, – сказала, покачав головой. – Я не понимаю.
– Я тоже не понимаю, – сказал я.
Хотя отчасти я понимал.
– Даже когда теряешь... любовь. Потерять любовь ведь не значит потерять зачем жить.
– Да. Не значит.
– Как думаешь, – сказала она, помедлив. – Он жалел... пока... ну. Жалел, что так сделал?
– Когда ты летишь с моста, – процитировал я. – Ты вдруг понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной – ты уже летишь с моста.
А потом, потому что она все еще ждала:
– Может быть. Может... он и не успел ничего подумать.
– Но у человека же есть эта штука, – она посмотрела вдаль. – Эта штука внутри, этот предохранитель, который всегда будет... ну. За жизнь. Разве нет?
– Да. – сказал я. – Большинство не могут через него перешагнуть. Инстинкт. Мы не хотим броситься с обрыва.
– Как овцы?
– Как овцы.
– Но он все-таки бросился с обрыва, – сказала она. – Он все-таки не просто подбежал к краю, не просто посмотрел вниз, а бросился с обрыва. Вот чего я не понимаю.
– И я, – сказал я.
Потому что было еще кое-что, чего я и правда не понимал.

Часть третья. Вглубь

– У нас человек пропал!

Консьержка жмурилась и обеспокоенно заглядывала мне в лицо, как будто я тут же мог ей сказать, куда он делся.

– Какой человек?

– Да этот. Проповедник.

– Проповедник?

– Ну я не знаю, как его еще назвать еще! Старичок такой. С бородой.

Наша консьержка – женщина лет примерно пятидесяти, одетая во все мягкое и шерстяное и почти всегда почему-то бежево-песочное, и в ширину примерно такая же, как в высоту. Она вся создавала впечатление квадратности и основательности, даром что теперь она высунулась почти наполовину из своей двери и теперь напряженно вглядывалась в меня.

– Не видели его? Вечно к всем пристаёт. К вам тоже приставал же! В день, когда тот, из пятьдесят шестой-то...

Я не отвечал, и она все так же беспокойно переступила с ноги на ногу. Так она занимала почти весь дверной проем.

– Листовки еще раздавал. Вроде в церковь ходил. Или в церкви работал, я не знаю, я сама не хожу, в церкви-то эти, разве что на пасху, и то когда...

– Вы уверены, что он пропал?

– Нет! Только я его уже давно как не видела. Так обычно часто видела, каждую неделю видела, мимо меня проходил, хотел и мне листовку оставить, конфеты тырил еще, бывало, а теперь уже недели две как его не вижу!

– Может, он куда-то уехал?

– Уехал? – переспросила она недоверчиво. – Думаете, уехал?

Подумала еще.

– Может, вы наведете справки?

– Справки о чем?

– О нем.

– Я его имени даже не знаю.

Зачем я это сказал, а.

– Мне-то откуда знать, где он может быть?

– О! Подождите.

Она долго рылась в книгах и листках, которые были беспорядочно навалены у нее на столе, и в конце концов нашла. Назвала мне и имя, и фамилию.

– Мне это ни о чем не говорит. И потом, вы уверены, что его действительно так звали?

– Думаете, он жил под чужим именем? – она смотрела преданно, но обеспокоенно.

– Ничего я не думаю, – проворчал я. – Я понятия не имею.

– Просто странно, – сказала она нерешительно. – Согласитесь, это странно. Что его нет.

– Ничего странного я не вижу. Может, уехал, может, живет у кого-то.

– Чего бы ему у кого-то жить, – она нахмурилась. – Точно не сможете... узнать?

– Откуда?

Она пожала плечами.

– Не знаю. Просто мне показалось, что вас можно попросить о помощи.

– У меня жена... – я замялся. Слишком много говорить мне не хотелось. – Сейчас мы немного... как вам сказать. Заняты. Я не могу выяснять, куда кто-то делся.

Если он вообще куда-то делся, прибавил я мысленно. И не вернется со дня на день и опять не начнет ко всем по очереди приставать.

– Я понимаю, понимаю! – замахала рукой консьержка. – И жену вашу... – она покраснела. – Я сама видела, выглядит такой счастливой, румяной! Уже скоро, да? Уже скоро!

– Да, – подтвердил я. – Уже скоро.

33.

Это было то, чего мне не хотелось никому говорить и ни с кем обсуждать. Это было наше с ней, не отдельно ее и не отдельно мое, а наше.

Она ждала его до того, как начала его ждать – вот в чем вся штука. Желание уже было в ней, оно просто начало расти, цвести и захватывать территории. Я был близко и все зачарованнее смотрел, как оно цветет – огромный цветок, розовый венчик, аккуратные лепестки по бокам, белое с длинными лепестками, что иногда вспыхивают огнем на склонах и кренятся под ветром. Это было похоже на укрепление того, что раньше было хилым, на медленное и неумное утолщение стебля, который в конце концов стал таким толстым, что выдержал бы груз любых страхов и возражений.

Я подумал, что она куда более податливо подчиняется жизни – куда больше верит тому, куда ведет ее эта путеводная красная планета, сверкающая точка высоко над крышами, которая раскачивается то вправо, то влево, но никогда не исчезает.

– Я не могу больше ждать. – сказала она как-то. – Я хочу попробовать. Я хочу ребенка.

Спокойно, как будто речь шла о том, что у нас кончился кофе.

– Я уйду, если ты будешь против. Я просто. Ну. Не могу больше ждать.

– Я... не против, – сказал я. – Я никогда и не говорил, что я против. Просто раньше я думал, что сейчас не лучшее для этого время, потому что...

– Никогда не будет лучшее время. Ты понимаешь? Никогда. Никогда не будет лучшее для этого время. И потом. Можешь мне не верить, но если этому не суждено получиться, то оно не получится. А если должно получиться, то получится. И у нас с тобой точно получится. Я знаю.

Я мог бы сказать нет. Я мог бы поспорить. Короткая яркая вспышка. Не морочь мне голову, я знаю, как это бывает. Вернее нет, я не знаю, но я....

Но зачем.

Я подошел и обнял ее.

– Все будет хорошо.

Я не видел ее лица, но все равно почувствовал, как она улыбается.

– Оно еще не началось. Мы даже не попробовали!

– Прямо сейчас начнем? – она подняла ко мне лицо. Если она и плакала, следов от слез не было видно.

– Если хочешь.

34.

Это казалось одновременно естественным и невозможным. Мы проводили столько времени совсем рядом, сплюснутыми друг с другом – мне никогда, ни с ней, ни до нее, не

хотелось стать с женщинами одним целым – я чувствовал, что я слишком из жесткого материала сделан, чтобы слиться с кем-нибудь полностью.

Но в такие моменты, когда ее дыхание было у меня на носу, а ее рука на моем плече – я чувствовал, что она существует. Не знаю, как еще описать это ощущение – пока мы не начали жить вместе, оказалось, что до этого она состояла больше из моих представлений о ней, чем из реальных фактов. Я что-то замечал о ней, что-то помнил, что-то полузабытое вспыхивало у меня в памяти – вроде фразы, которую она бросила в кафе, глядя через плечо – кофта сползла, а я запомнил – и мелкие веснушки на плече, и ткань, белую в синюю морскую полоску.

Я восхитился. И запомнил. Сложил это к себе, а потом забыл.

Ее нос был очень близко, и я чувствовал его холодное прикосновение. Ее полотенце, висящее на крючке и еще влажное, и немного припадавшее к двери. Фильтр для кофе, и банки с отвратительным растворимым, который я не понимал, как она пьет, а она не понимала, как я могу не пить. Расческа, которая лежала и блестела своей изогнутой ручкой на куче моих дисков. Черты становились более и более реальными, и проступила она вся – не та, которую я придумал, а та, что была на самом деле.

Я видел ее так часто, что не замечал, как она меняется – ее лицо было в каждый момент, когда я ее видел, едино, но ежеминутно собиралось и разбиралось – родинка у носа, торчащий волос, маленькая складка на боку, тускло-розовая, вся в пупырышках, кожа, и содранная пятка, которую она быстро и смущенно прятала под одеяло. Увидеть ее обнаженной – не увидеть, а успеть увидеть. Сверху всегда что-то было, накинуто, наброшено, завернуто, застегнуто, и не то чтобы она была против расстегнуть – скорее, она сдавалась, зная, что расстегнуть все равно придется. Я чувствовал ее стыд, и чувствовал жар, исходящий от нее – одновременно то, что всем позволено, и то, от чего хочется зажмуриться и убежать; одновременно то, что дает свободу и то, что обвязывает низ живота невидимой нитью.

Она дышит прерывисто и осторожно, и ее тело появляется и исчезает – в ночи ее силуэт то закрывает свет из окна, и становится совсем темно, то он снова обозначается в тусклом лунном сиянии. Нас здесь двое, но иногда мне кажется, что это какое-то одно существо, у которого несколько рук и ног, и оно барахтается и переваливается в темноте.

Мы проводили столько времени рядом, что ждали – она ждала, а теперь и я – когда это случится.

Когда-то, в свой первый раз, когда я впервые оказался ограниченным четырьмя углами кровати, не с ней, а еще до этого – я вдруг понял, что от меня ждут чего-то. Ждут, что у меня с собой, ждут, что я знаю, что делать. И я поспешно сделал вид, что я знаю. Но мысль пришла – как они всегда приходят, молнией – короткая и абсурдная: до чего это все нелепо. До чего нелеп я, раздетый догола, нелепы развевающиеся занавески, тонкая ткань, и ветерок, от которого у меня неприятно стынет кожа, и стопы наливаются холодом. До чего нелепо, наверное, мое выражение лица – очень глупо оно выглядит в лунном свете. До чего нелепы попытки положить руки – то на талию, другая на поясницу, туда, где еще недавно была резинка от белья, и оставила на коже длинный красноватый след, который теперь съезжает и стелется по бедру, как лыжная трасса по склону. Почему я подумал про лыжную трассу?

Кто-то сказал за пределами моей головы, но все же внутри – что ты тут делаешь? Хуже всего было то, что от меня и тогда чего-то ждали – нетерпеливо, сонливо, требовательно. И я, конечно, понял, чего, и промямлил что-то, и кровать скрипнула в темноте. А голос больше ничего не говорил. Ощущение было противное, как будто кто-то стоит со мной рядом и уважительно молчит.

После того как осталась позади та первая, белая в лунном свете, четырехугольная кровать – мне казалось, что я никогда уже не уйду с этой кровати, никогда из нее не выйду. Не странно ли, как много важного обрамляют самые разные кровати – то, как появляются люди, то, как тело становится просто телом, то, как лежащего на ней перекручивает и хватает болезнь, то, как можно прижаться к кому-то, и даже секунду странно провести, не касаясь. Я был во множестве разных кроватей, но ту, первую, запомнил потому, что тогда видел не только то, как кожа отливает в лунном свете. В ту ночь я впервые почувствовал разницу между своим телом и чужим – то, что я не знаю, во мне не отдает импульс, когда им больно, или хорошо, или и то и другое. Что я вынужден полагаться на шаткую опору, и она, конечно, подламывается под моей рукой, и я падаю, падаю, падаю.

Последняя граница между мной и ней – резиновая оболочка, всего несколько миллиметров. Иногда в процессе в голову мне лезло что-то странное, вроде орд маленьких воинов, которые беззвучно маршируют через эту преграду, а она стелется под ними и блестит, как молочная река, масляным блеском.

Мне казалось, что это произойдет, точно произойдет – с моей-то удачей, моей привычкой собирать и замечать все странное, что живет в этом мире. Что я прорвусь через эту резиновую преграду – сам не хотя этого, почти случайно, но прорвусь. И мне придется вспоминать себя тогдашнего – промерзающего под сквозняком из открытого окна, ладонь в первый раз ложится на белую, мягкую кожу.

Но этого не случилось поначалу. Не случилось, и все, и не случилось несколько месяцев, так, что я почти уже начал забывать об этом, забывать, что мы пытаемся.

Но я все равно думал. Даже тогда, когда мозг мне слепило удовольствие, когда снизу вверх шла высокая горячая волна, я каким-то осколком мысли, запрятанным вглубь, думал – а вдруг? А вдруг?

Если вернуться в ту минуту, когда я увидел ее в первый раз, если прошагать обратно в тот кусочек времени, если задержаться, оглядеться, осмотреть, что произошло – то окажется, что будущее, которого еще не было, каким-то образом уже было. И я подчинился ему.

Мне казалось раньше, что между двумя людьми не может быть пустоты. Что пустота ядовита, что пустота разливается, как река, и относит нас дальше и дальше друг от друга. Но мы стали жить вместе – и пережили пустоту. Время пережевало ее и сплюнуло, а мы остались – и теперь не пустота есть, и не мы, а то, чего в ней еще нет. Кого в ней еще нет. Пока нет.

35. А потом однажды она пришла, села на кровать и сказала:

– Да.

Не бросилась мне на шею, не обняла и не стиснула меня крепко – хотя иногда так делала, когда очень радовалась или очень огорчалась.

Посидев только секунду, она вскочила, захлопала в ладоши, и закружилась, притоптывая и подпрыгивая, в центре комнаты.

– Да! Да, да, да!

Камина тут давно не было, только выемка в стене, но мраморная полка зачем-то еще осталась – видимо, строители не хотели ее пилить. На ней теперь сидел вязаный заяц, которого ей подарили на восемнадцатый день рождения, и она везде возила его с собой. На эту полку она и положила тест.

В следующий момент мои руки уже были вокруг нее – ее запах, и на уткнулась мне в грудь, а потом в плечо.

– Да, – повторил я. Потому что ничего другого говорить не надо было.

– Да.

– Ты пойдешь к врачу?

– Я уже сходила. Днем.

– И все... в порядке?

– Все в порядке. Пятая неделя.

– Пятая? – удивился я. – Я думал, вторая? Третья?

– Пятая. – она покачала головой. – Быстро получилось. Не сразу конечно, но быстро. Повезло нам! Представляешь?

– Да.

Я сжал ее посильнее. Но аккуратно. Она не отстранилась, только вздохнула.

– Мы будем отличными родителями. Первокласными. Лучшими.

– А, и да. Это мальчик, – сказала она. – Мне никто не говорил, но я чувствую. Это точно мальчик. Сто процентов. Миллион.

– Ты уверена?

– Уверена не то слово. Я знаю. Это мальчик. Назову как тебя.

– Не вздумай!

– Ага, – хмыкнула она. Оторвала лицо от моей груди и поцеловала меня.

– Спасибо тебе, – сказала она некоторое время спустя.

– За что?

– За то, что ты со мной. За то, что ты сказал да. За все.

– Подожди, пока он родится, ладно?

– Спасибо, – повторила она. Сцепила руки на моей спине и не отпускала. – Спасибо, спасибо, спасибо.

36.

Мы никому и ничего не говорили, но в доме все равно, понятно, знали.

– Эта, с первого этажа, пытается давать мне советы, – сказала она, смеясь.

Я сразу понял, кого она имеет в виду.

– Какие еще советы?

– Хочет продать свою коляску. Говорит, дочери уже скоро будет не надо.

– У нас тут не дом, а целая гаражная распродажа, – проворчал я, помогая ей снять пальто. – И что ты ответила?

– Мы сами справимся, спасибо. А она мне и говорит – вы в такой госпиталь поедете? В тот, где была жена того... ну.

– Того, – я кивнул. – Из пятьдесят шестой.

– Его, да. С чего мы должны ехать не в тот же госпиталь?

– Просто совпадение. Ближайший.

– Вот именно.

– Но она вбила себе в голову, что это дурной знак.

Когда сосед выпрыгивает из окна и приземляется прямо перед тобой, это очевидно дурной знак, хотелось сказать мне. Дурной знак для соседа, но совсем необязательно для тебя.

– Потом спросила, собираюсь ли я кормить грудью. Еле от нее отвязалась. Как живот становится виден, люди уже не могут сдержаться. Консьержка и та осведомилась, как мы его назовем!

– Диоген, – сказал я, не думая.

Она рассмеялась.

– Надо было сказать «Диоген», а потом сказать, что он привычен к закрытым пространствам.

– Я сказала, что не знаю, – сказала он, смеясь. – Теперь каждый раз, когда меня видит, она станет предлагать мне новое имя.

– А про меня она ничего не спрашивала? – осторожно спросил я. – Консьержка?

– Нет. Вообще про тебя не упоминала. – Она подняла голову и вгляделась мне в лицо.

– А должна была?

– Нет.

Она кивнула и ушла на кухню.

Ходила она точно так же, как всегда. Походка ее совсем не изменилась. Я старался поменьше ходить теперь, побыстрее выполнять свои задания, и так быстро, как только мог, возвращаться к ней.

Это получалось не всегда.

37.

Это было утро, очень, очень раннее утро, между пятью и шестью часами утра – мне надо было посмотреть, где машина очередного объекта, удостовериться, что она там, где я предполагаю. Я мог бы, конечно, сделать это на следующий день, но в этот раз я предпочел закончить все одним махом.

Машина была там, где я и рассчитывал, под окнами, слабо освещенными, а значит, мне больше нечего было там искать.

Я шел через пустой и темный квартал. Шел и представлял, как прямо на ходу, ловко огибая растопыренные руки прохожих и продавцов всякой дряни, я сдираю то, что на мне надето, бросаю на углу улицы и вхожу в следующий квартал как ни с чем не бывало, натягивая на плечи совсем другую ткань и поправляя чалму на голове. Я иду и посвистываю, и вдруг начинаю по имени выкрикивать владельцев магазинов, и поминутно вскидывать руку, и хлопать встреченных по пути друзей по спине – и они отвечают мне так же зычно, громко, смеясь всем телом, так, что им сигналил подошедший сзади автобус. Я мог бы сесть, подогнув ноги, среди них на бордюре, или даже запустить руку в чужие карманы – почему нет, дайте мне минутку на повороте или на перекрестке, где толпится народ, и я сделаю это.

Витрины еще спят, но сквозь очки я вглядываюсь в выложенную там мишуру, вижу, как звенят выставленные на продажу золотистые сережки, переливаются блестяще-розовым отрезом ткани, и пахнет специями и уксусом.

Если бы тут былолюдно, во мне отпечатались бы следы уличного гула, флаги, резкий звук трубы и крики около метро, когда кого-то – грузную женщину с тележкой, всю закутанную во что-то ядовито-розовое – в прошлый раз, когда я тут шел, сшибли на ступеньки. Она не покатилась, не слетела вниз, а просто распласталась и лежала некрасивой кучей, из-под которой доносился приглушенный вой обиды.

Достаточно только сменить образ. Я проделываю это как фокус, трюк, просто протягиваю руки, прямо на ходу просовываю их в рукава и вежливо улыбаюсь, мне подадут еще одну душу.

Вот бы кто-нибудь объяснил мне, для чего я здесь, для чего все устроено так.

Раньше, когда я ходил, я смотрел сбоку на свои отражения. Между облезлыми дверьми иногда были зеркальные поверхности. Я ловил себя в них и сразу же проскальзывал, выскальзывал, тренировался исчезать.

В темноте я дошел до стадиона – он находился совсем недалеко от нашего дома, и в такой час там было пусто. На трибунах никого не было, кроме, может быть, пустой бутылки, которую ветер закатил под сиденья, или кепки, что валялась, неприкаянная, на сиденье в предпоследнем ряду. Я поднялся на трибуну и сел повыше – мне нравится тишина, нравится пустое и голое пространство, нравится смотреть на то, как изгибается и поворачивают на углу полосы беговой дорожки.

Стадион мне нравится и не нравится тем, что он сжимает бегунов кольцом, и бежать по городу совсем не то же самое, что бежать по стадиону – хочется нагнуть голову, как будто кто-то бежит за тобой. Стадион отбирает все то, зачем обычно бегают по городу: и скользящий пейзаж, и вид с холма сверху, пока город притаился и ждет внизу. Есть только резиновое покрытие и боль, и все возвращается к одному и тому же – к постепенной потере чувства времени, чувства дистанции и чувства того, куда и зачем ты бежишь.

Иногда хорошо себя чем-нибудь ограничить. Я думаю об этом, трогая рукой горб на боку у дорожки – неудобный горб, вздутие как раз там, где положено огибать трек. Всегда лезет под ногу как раз тогда, когда чувствуешь себя победителем.

Спортсмены вскальзывают внутрь незаметно – так же незаметно, как они начинают бежать, едва вода ногами в плотном, темном воздухе. Бывало, что я замечал их не сразу – через десять минут, а то и полчаса сидения вдруг видел фигуру, которая двигалась вдоль стадиона неспешно, но плавно, и так естественно, как будто это была просто тень. Я смотрел на нее, стараясь понять, как она плывет так неторопливо и одновременно так быстро – оттуда, где я сидел, не было видно лиц, и я не мог понять, полуприкрыты ли у них от усталости глаза, или устремлены на одну точку на горизонте, или они смотрят в полуслепое небо и замечают птичьи гнезда на верхушках деревьев, что растут по другую сторону стадиона.

Бегунов не становилось больше – одни растворялись насовсем и просто исчезали, и я больше не видел, как они бегут, чуть раскачиваясь на своих длинных и мускулистых ногах. Другие добавлялись – я не отрывал взгляда от дорожки, следил, следил, как они пересекают полосу света, и вдруг замечал, что фигур стало больше – и не три штриха, а

четыре двигались теперь вдоль огромного, уходящего вдаль круга. Они бежали, а рассвет приближался все ближе и ближе.

Надеюсь, она все еще спит.

Одна женщина выделялась среди бегунов. Я заметил ее потому, что она была непохожа на тех, кто обычно здесь бежит – в ней было что-то жесткое, деревянное. Ее тело было сбито куда плотнее, чем легкие и тонкие фигуры других, а движения ее рук и ног как бы насильно, специально раздвигали толстый воздух. Она не летела, нет, она преодолевала пространство – как я иду, согнувшись, под дождем, всем телом бросаясь на встречный ветер. Но эта женщина, в отличие от меня, не останавливалась – нагнув голову, она продвигалась вперед упрямо и мерно, перебирая ногами и держа очень прямо свое негнувшееся тело. У нее был вид кого-то, кто долго бился о каменную стену, за годы отбил кулаки в кровь, но она знает, что однажды – однажды каменная кладка разъедется и пропустит ее внутрь.

Сила, которая чувствовалась в ней, – я хорошо знал эту силу. Сила негнувшегося, вечного, горящего намерения, которая пробуравливает дыры и подкладывает взрывчатку под двери, где долго не хотят открывать. Она бежала, а я думал – я не заглядывал туда, где она живет, я не сидел с ней рядом в приемной врача, рассматривая ее руки, я не был там, где переодевают в халат и выдают чистые тапочки. Я не знаю, что она выращивает на своем подоконнике, куда спешит, когда выходит из метро. Кто она такая, когда она не в легинсах, слегка сползших на талии, и толстой кофте с капюшоном.

Я прикладываю руку ко лбу и улыбаюсь – приняла решение не сдаваться. Что ж, я не могу возражать – дойти до этого стадиона, распрямляя и хрустя на ходу костями, неудобным нагромождением их в спине, которое собралось там, как куча жестких палок, поднять голову как можно выше и ковылять, ковылять, по два метра удаляясь от своей печали. Чем не решение.

Она права, думаю я – печаль не может поймать тебя, пока ты на ходу. Только летит следом, как аромат, но окутать, надвинуться на голову и плечи и закрыть от мира не успеет. Бегун навстречу кивнет ей понимающе, и вот уже печаль, та печаль, что везде увивается за ней, окажется на пару метров, но позади.

Беги, беги, думаю я. Даю тебе слово, что туман растает, темнота рассеется, ты поднимешь голову и обведешь стадион глазами, которые будет заливать едкий соленый пот – меня не будет на самом последнем ряду, и трибуны, раскрывая перед тобой свои пластиковые чаши, будут пусты.

Солнце взойдет.

38.

Когда она ждала его, я смотрел на нее и думал – откуда он придет? Он уже начал свою дорогу и шагает теперь, шаг за шагом, нам навстречу, или он вовсе и не хотел идти к нам, так просто получилось – ему кивнули подбородком, втолкнули в эту дверь, и пришлось начать двигаться вперед маленькими шагами, меньше, чем толщина волоса, меньше, чем игольное ушко.

Он идет и идет, не зная, что его ждет, в темноте, и вокруг несутся и гудят по трубам потоки крови. Он идет и притягивается к пункту назначения, он путешествует по времени, а шаги становятся все больше, все ощутимее, и вот уже даже я чувствую отбиваемый ими

ритм. Он идет нам навстречу, идет и идет, раскачиваясь в пустоте, переворачиваясь, но не поворачивая, а мы всего лишь стоим за этой дверью и ждем.

Иногда мне казалось, что она смотрит на ту дорогу, которую он совершает – с восторгом, а на меня – с сожалением. Не потому, что мы становились друг от друга все дальше, а потому, что она уже попрощалась с прежней жизнью, быстро и неминуемо перешагнула этот порог, а я все медлил.

Трус ли я – спрашивал, когда шел, заглядывая под козырьки ларьков с мороженым, в окошки таксистов с зеленым огоньком, которые чуть поднимали пальцы от руля, пропуская меня вперед.

Если бы за каждой дверью, в которую я входил, кто-то ждал бы меня так, как мы ждем его – был бы я счастливее? Мне оставалось бы только шагать и щурить глаза на свет, не белый, а красновато-желтый, который выбивается из-под щели под дверью. Только дойти до нее, только повернуть ручку, только дождаться, пока она распахнется – и сразу же, когда я пересеку полосу света, исчезнет все, что было до.

В ней как будто погасло что-то – ее привычная бойкость, резкость движений – языки пламени перестали взметаться вверх, а теперь только мерцали, и я даже мог держать над пламенем ладонь. Часто она замирала посреди кухни и прислушивалась, покачиваясь под неслышимый мне ритм, а потом вытягивалась кверху, вставая на носочки и слушая, как несется издали звук, которого я не мог расслышать.

Ее, казалось, это ничуть не волновало – то, что однажды та боль, которая зашита в ней с самого начала, вырвется и разорвет ее напополам. Не потому, что он должен выбраться наружу – нет, совсем не поэтому, а больше потому, что он вытеснит ее из мира. Не только из моего мира, где мы с ней были вдвоем, среди полупустых кофейных банок, смятых подушек и гудения душа поутру, а из мира вообще.

Я боялся за нее. Она становилась все ровнее, все тише и добродушнее, все меньше куда-то выходила, а, когда выходила, говорила мало и двумя руками обнимала живот, мечтательно глядя в небо. Она смотрела туда внимательно и как будто даже с какой-то целью, щурила глаза. Из уголков от того, как она сильно щурилась, выкатывались слезы, но она не смахивала их, а только продолжала щуриться и смотреть.

Иногда я представлял себе самое худшее. Она падает – ее вдвое сгибает боль, и она дергается, ноги у нее подгибаются, одной рукой она держится за живот. Оседают на кухонный пол, и я вижу, как растекается во все стороны бледно-розовое, а потом все более и более красное пятно. Как весь цвет уходит из ее лица, и оно становится просто набором черт – бледный лоб, рот, собранный в нитку.

Мне говорили, что надо делать в этом случае – набрать номер, дождаться, пока мне ответят. Дышать в пустоте и даже не думать, нет времени думать – обрубаются одним ударом и прошлое, и будущее, и нет ничего, кроме этого белого плоского лица.

Когда она останавливается посреди того, что делала, или тяжело поднимается с табуретки, на которой сидит, и держится за поясицу, я ловлю ее руку и немного сжимаю. Пальцы у нее теплые, и все пять умещаются в моей ладони.

Я боялся – не только за нее, а еще и за то, что он заберет ее у меня. Ту ее, что смотрела на меня в машине сквозь полосы света. Ту ее, что лежит рядом и дышит часто-часто. Они все схлопнутся, соберутся в гармошку и будет только одна она – та, что принадлежит ему.

– Ты знаешь, время так быстро идет. – сказала она, со стоном повернувшись ко мне в постели. – Я его не замечаю. И вроде оно должно быть каким-то особенным, а я себя чувствую так, как будто это все давно уже должно было случиться. Как будто он даже опаздывает.

– Опаздывает?

– Да. И еще как будто так, что это уже когда-то было.

– Что было?

Она коснулась живота рукой и закрыла глаза.

– Ты. Этот дом. Улицы. Лестничные пролеты. Я уже была беременна. В прошлой какой-то жизни. Это все уже было.

Ее голос звучал все тише.

– Может, ты поспишь еще?

– Да, – сказала она сонно. – Да. Надо поспать.

Я погладил ее бок – длинным ласкающим движением.

Она вздохнула, прежде чем закрыть глаза.

– Это все уже было.

39.

– Слушайте. Опять консьержка. Что ж такое-то.

– Простите, что я вас опять... беспокою. – Она виновато потупилась в ответ на мой взгляд. – Но. Я тут подумала. Может, нам сходить в его квартиру?

И, когда я промолчал:

– У меня есть ключи.

Я поднял голову от стола, где в груде писем искал то, которое спустился сюда найти.

– Откуда у вас ключи?

– У меня запасные. Не ко всем квартирам, а только к тем, кто дал на это свое согласие... То есть, ну... – она смутилась.

– И к нашей есть? – спросил я.

– К вашей есть, – подтвердила она, зардевшись. – Хозяин оставил.

Прекрасно. То есть кто-то вполне мог зайти в нашу квартиру, когда нас там нет, воспользовавшись ключами консьержки. Хорошо, что я ничего не хранил в квартире, кроме личных вещей, и ничего нельзя было узнать из того, что там было. Чисто.

– И к его есть?

– К его тоже есть, – она с готовностью кивнула. – Я и сама хотела... сходить. Но вдруг он там, а я вломлюсь, без стука. Вы знаете, у некоторых ведь даже оружие есть, никогда не знаешь, где люди его берут, – она доверительно наклонилась ко мне, – а я его и потревожу, вдруг спит человек, или болен... Ну, и я... понимаете...

– Понимаю.

– Давайте сходим, – сказала она опять. – Я его так и не видела. Уже месяц как точно. В прошлый раз вы сказали, что не надо, но... давайте сходим, а?

– А к властям вы обращались?

– Да, я говорила. – Она перевела взгляд за мое плечо.

– И что сказали?

– Сказали, если с ним что-то случилось, обращайтесь. Сами знаете. Так они не хотят этим заниматься. Нет человека, так какая им разница, почему нет.

Мы помолчали. Я обдумывал ситуацию.

– Если бы что-то случилось, был бы запах, – сказал я резко. – И потом, вы разве в тот раз к нему не ходили? Вы же вроде говорили, что пойдете.

– Ходила, – призналась она нехотя. – Ходила, но я.... Не открывала дверь. Я только постучала. Позвонила.

– И что?

– Никто не открыл.

– И вы хотите, чтобы теперь я пошел с вами?

– Ну... да. Вдруг он... там. Вдруг ему плохо.

– Когда вы видели его в последний раз?

Она нагнула голову и стала, уставившись в круглые и обкатанные тысячей ног камни, думать. Пока думала, я заметил, что один носок у нее съехал, а второй оставался подтянутым высоко, а на туфле – странной, больше похожей на мужской мокасин – спереди морщинка.

– Вторник... – бормотала она. – Вторник это был, что ли? Или среда? Нет, не среда... точно вторник.

– Полтора месяца. – сказала она наконец. – Как минимум.

И мы пошли.

40.

Обшарпанная дверь, коврик, на котором мы долго шаркали, стуча и звоня – она звонила и вздыхала, вздыхала и звонила, я вежливо ждал рядом. После третьего раза я сказал:

– Давайте ключи.

– Что, прямо так? – всполошилась она.

– Давайте. Или я ухожу.

Она дала.

Я повернул в ладони блестящий металлический ключ – давно не видел таких, он был плоский и с кольцом, какие бывают ключи от старых столовых, или каких-нибудь кабинетов, где сквозь замочную скважину видно полкабинета – и отпер дверь.

Первое, что донеслось изнутри квартиры, это тихое пение. Пели голосом, который был непохож на его, непохож на женский или мужской, не радио, не громкоговоритель, не передатчик и не эхо. Не бормотание, не слова. А именно пение.

Квартира была завалена вещами – в коридоре по левую и правую сторону какие-то тряпки, они же закрывали почти всю мебель и кучами лежали на кресле, на низком столике и толстым слоем – на подоконниках. Весь пол был заставлен коробками, кое-какие открытые, кое-какие закрытые. Ногу было поставить почти негде.

Консьержка, всей своей порядочной квадратной массой, ойкнула и замерла.

– Это... что?

– За мной идите.

– Он дома, выходит? Может, нам...

– За мной идите! – повторил я, потому что, сделав первый шаг, едва не подвернул ногу на стеклянной бутылке, которая тут же откатилась в угол.

Тут можно ловушки ставить, честное слово.

Осторожно пробираясь мимо вещей, снимая с себя те, что на меня падали и за меня цеплялись, я прошагал во вторую комнату.

Вторая комната была не лучше. Стульев больше, один с поломанной спинкой, и что-то наподобие кушетки, приткнутой в углу.

Он стоял спиной к нам, у окна, стоял спокойно, не поворачиваясь, но слегка раскачиваясь, и тихо пел.

Мне сразу бросилось в глаза, что он куда худее, чем когда я последний раз его видел – одет только в свободную рубашу, но даже со спины кости пересчитывались сквозь ткань, и он стал как будто бы сильно уже. Ноги, выглядывающие из-под затасканных шаровар, и руки, сложенные за спиной, были худы до такой степени, что казались почти высохшими, как у скелета – часть повыше локтя, казалось, можно было обхватить пальцами одной руки.

Консьержка за мной громко охнула.

– Что с ним?

Не ел, подумал я про себя. Нет еды. И в принципе нет, и конкретно в эти последние месяц или полтора нет. Не ел, может и не пил, курил, сох, томился. Сушили. Сох сам? Да кто его знает. Вещества. Черное по венам. Опиумный притон. Дым. Терять сознание, но не резко, от ослепляющего удара, а мягко, как бы оседая. Опускаясь.

О чем я думаю?

Консьержка больно ткнула меня в бок. Оказалось, я все еще стоял в дверях.

– Да что с ним, а? Скажите же, что с ним?

– Эй! – позвал я его. – Эй!

Он не спеша обернулся, продолжая и покачиваться, и петь. Казалось, он нас не видел, потому что смотрел куда-то мимо, в сторону старого шифоньера в углу комнаты, из приоткрытой двери которого тоже вываливались вещи.

– Ой вааааааа и дааааааа... – тянул он тихонько.

Что-то странно хрупкое было в его худобе. Как будто его можно было сломать одним ударом. Как будто его уже сломали, потом ровно склеили, потом опять сломали и опять склеили, и так до бесконечности, так, что теперь он носит с собой только половину себя – половину того, кем был до. Как будто кто-то пришел и половину отрезал. За повинность? Какую?

И тут вдруг он заговорил.

– А, вы! – он посмотрел на меня шаловливым взглядом, но как бы искоса, не в лицо, в мою сторону. – Вы! Тот самый! Из тех! Шпион под прикрытием! Ха, ха, ххха-ха! – он восклицал и на каждое восклицание взмахивал руками. – Пришли проверить, как тут я! Не околел ли еще! Не представился! Не...

Консьержка резко отпустила мою руку.

Он закашлялся – тонким и каким-то визгливым кашлем.

Что, интересно, заставило его голос так уехать вверх – последний раз он разговаривал со мной не как дребезжащая алюминиевая крышка, а теперь от повизгивания хотелось уши прикрыть.

– Вот видите, не умер еще, не умер, товарищ шпион! Можете проверить мои вещи, ваши друзья или, как их там, ваши коллеги за мной еще не приходили! Что-то они припозднились! Должен вам сказать!

Он вдруг подпрыгнул и стал раскачиваться на месте, поводя руками, как будто плыл через воздух. Ноги между тем оставались на месте, а он раскачивался и пружинил всем телом.

– Но я-то – чист! Они до меня не доберутся! Хи-ххи. Не доберутся. Пусть только попробуют меня тронуть, и тогда я им... я им... скажу.

Внезапно я заметил в углу комнаты небольшую плитку, с двумя горелками, аккуратно пристроенную на качающийся стол, так заставленный, что поверхности вообще не было видно. Под столом валялся одинокий оборванный тапочек.

На одной из горелок стояла кастрюля, из которой что-то дымило и тоненькой струйкой шел пар. И, судя по запаху, не от еды.

– Он так все тут спалит. – сказал я негромко консьержке. – Еще немного, и будет пожар.

Она с ужасом переводила взгляд то на него – казалось, она никак не может перестать смотреть на его руки-спички, и такие же ноги – то на меня. В ее глазах было что-то такое, о чем я пока отказывался думать, и, возможно, я и потом не буду думать, потому что не все ли равно на ее мнение?

– Эй!

Я шагнул было к кастрюле, но он зашелся визгливым смехом и погрозил мне костлявым пальцем.

– Там для вас нет ничего интересного, уж поверьте мне! Если не хотите, хаха, улететь вместе со мной! С вашим покорным слугой! Вернее, не таким уж и покорным, ха! Вы бы видели... Ха. Они не знают. Они и не узнают. Ха!

– Он с ума сошел, – сказала позади меня консьержка убитым голосом. – Спятил. Надо же. Он сумасшедший.

Я все-таки подошел и выключил горелку. Он вяло помахал у меня перед носом руками, но я отвел их, как ветки.

Хорошо было бы ее совсем забрать, а также хорошо, чтобы он чего-нибудь поел, а кухни тут, насколько я мог видеть, не было. Поэтому забирать ее с собой я не стал.

Он подмигнул мне.

– Что, не хочешь попробовать?

– Что он там... варит? – спросила консьержка.

– Я состав не читал, – сказал я, рассматривая кастрюлю. – Тут, знаете, этикетки нет. Но вам лучше это не пить, не есть и не нюхать.

Он все продолжал раскачиваться.

– Так что же... делать? Что с ним делать?

– Бульон какой-нибудь дать ему выпить. Есть у вас? И что-нибудь, чтобы заснул. Только не говорите, что даете. Таблетку снотворного растворите и все. Судя по нему, он не ел с месяц где-то.

– Хи, хи! – захихикал белобородый. Борода у него теперь спуталась и висела ключьями, щеки впали, глаза ввалились, а уши заострились и прижались к голове.

– А вы? – прокричала она мне вслед, когда я уже направился к выходу из квартиры. Кастрюльку я взял с собой – она неприятно жгла мне руки, и на ходу выплеснул ее в унитаз, а саму поставил на тут же пристроенную раковину, размером не больше обувной коробки. Можно было бы вылить и из окна, но не стоит рисковать головой кого-то, кто проходит в это время по двору и рискует быть ошпаренным чудодейственной жидкостью. Одной головы тут нам хватит.

– Он жив, а мне идти надо, – прокричал я уже от двери. – Ключ в замке. Закроете за собой потом!

И, проявив таким образом минимальное участие, я побежал вниз по лестнице.

Его сумасшествие, по правде, меня не то чтобы беспокоило.

И потом, я не думал, что это было сумасшествие.

41.

Я не знаю, забирали ли его. В конце концов, его вполне могли забрать, а потом вернуть. Причем и вниз, и вверх, но не было никакого шанса его там найти – даже если бы я наткнулся на него случайно, я его не узнал бы. И уж точно не смог бы его вытащить и предотвратить все это – если ты что-то видишь, это еще не значит, что ты можешь вмешаться. Видеть это всего лишь видеть, протягивать руки за прутья клетки. Всего-то.

Это почти как смотреть в чужие окна. Если некоторые общие места, а есть и частности, но в целом вагоны, в которые заглядываешь из поезда, несущегося по соседним рельсам – окно в окно – это только сцены, где ты зритель, а не участник.

Все выглядело так, как будто забирали. Доказательств у меня, конечно, не было, кроме того, что он сказал – а я не стал его допрашивать потому, что это, во-первых, не входило в мои обязанности, во-вторых, я приперся-то в эту квартиру, чтобы помочь консьержке тащить его бездыханное тело по лестнице в случае чего, а совсем не для того, чтобы слушать его песнопения и думать, как хорошо, что он не открыл окно, а то вывалился бы, а одного нам на первое время хватит? В-третьих, там была консьержка, а задавать вопросы при ней было просто опасно.

Больше меня беспокоило то, что он сказал про меня. Теперь эта, оправившись от шока, разнесет это на весь дом, и мне следовало бы ее припугнуть, чтобы не повторяла всякой чепухи, особенно чепухи, про которую ничего не знает. Но слово, как известно, не мышь – если мышь еще можно остановить, поставить ей ловушку, словить в капкан, раздавить сапогом в конце концов, то слово, всего лишь одно слово уже не остановишь. Стань я спорить с сумасшедшим, всем стало бы интересно, а почему, собственно, я с ним спорю. Что он сказал такого, чего стоило бы бояться? И вот, железный лязг пружины, опускающейся на не пустое место. Ну да. Ну да.

Ему уже вряд ли поможешь. Душа вернется, может быть, вернется, может быть, не до конца ее из него выбили.

Мне надо было возвращаться к ней.

42.

– Уже скоро, ты как думаешь?

– Уже очень скоро.

Я вряд ли когда-то представлял, что в нем будет немного нее и немного меня. Эта мысль казалась мне странной, как смешивать в одной миске перец и соль. Моя манера все ставить в вопросительном. Ее прядь волос, налипшая на лоб. Мои чуть поднятые плечи. Ее смех посреди ночи, потому что она смотрела что-то в наушниках и вдруг засмеялась из-под одеяла.

– А если в нем будет что-нибудь такое, чего ни у меня, ни у тебя нет?

– Откуда, по-твоему, оно тогда появится?

– Не знаю. Откуда все появляется? – она пожала плечом, не поворачиваясь ко мне. – Откуда он появился?

Это был отличный вопрос – откуда, черт возьми, он появился. По правде говоря, какая-то часть меня думала, что он не появится вообще. До последнего момента. Как артист, которого анонсировали, долго драили сцену, отряхивали от пыли бархатные занавески, прилаживали микрофон – а потом, когда все уже ждали, напряженно вытянувшись вперед, вдруг по громкой связи объявили, что концерта не будет.

В больницу мне пришлось ехать одному – я не успел, вернее, успел к самому главному, но она приехала до меня. Быстро, как она умела, схватила сумку, засунула сначала одну ногу, потом другую в такси – отец семейства, чей сын имел свойство горлопанить и швыряться из окна то пакетами с водой, мне потом сказал:

– А я видел вашу – проворно так села! Даром что беременная!

Я ворвался, когда все уже почти было кончено. И когда довольно уже не молодой доктор похлопал меня по плечу и посмотрел на меня странно, потому что я тоже, кажется, начал раскачиваться на месте и напевать, и зеркальный шкаф напротив в полумраке – почему в больничном коридоре выключили свет? – показывал даже не белое, не бледное, а какое-то зеленоватое с серым лицом, тени на щеках и на висках.

– У вас мальчик.

Я, кажется, кивнул. Мальчик.

– С вашей женой все будет в порядке. Она спит.

– Вы можете к ним зайти.

Я не смог ему ничего ответить. Не смог даже открыть рта, только смотрел.

– Ладно, – сказал он в конце концов и ушел.

Или это был уже другой доктор? Я не мог их различить.

Я только подумал – я подумал тогда, что есть что-то такое, что нельзя сказать. Нет таких слов, которые можно темной ночью вынуть из себя, как его вынули под белыми больничными лампами, и сразу выключается весь свет. Нет таких слов, которые можно вынуть из себя – в темноте или при свете. Нет таких слов, какими это можно было бы объяснить.

43.

Когда я первый раз встретился с ним взглядом – позже, это было сильно позже, хотя это было в тот же день – мне показалось, что он вглядывается в меня. Это был странный взгляд – слишком взрослый для кого-то, кто видит мир в первый раз. Длился он недолго – она пригнулась и поцеловала большую круглую голову, и прижала его к себе, и глаза, жмурясь, закрылись.

Потом я держал его на руках, прижимая к себе, и смотрел в больничное окно. Мне хотелось сказать что-нибудь глубокое, или хотя бы подумать что-нибудь глубокое, но я сумел сказать только:

– Вот это – ты.

– А вот это – мир, – я показал на то, что за окном.

Сейчас ты не видишь мир, но вот увидишь, он там, за окном, где городские крыши забрасывает белым, и они скрываются в молочной пелене. Там стоят высокие здания, ряд за рядом, те, что поближе, видны более отчетливо, а те, что подальше, очерчены контуром. А те, что сбоку, отрезаны рамой окна. Больничное окно берет в кадр только это. Но город там, за окном, весь, сияющий по ночам, липкий, когда наступает лето. Внизу, где тебе не

видно, дороги, и они пересекаются друг с другом, иногда прямоугольниками, иногда гонят по кольцевой, а иногда уходят в сторону ветвями.

Ты не видишь мира, и тебе столько всего прощается пока. Тебе прощается все. Ты такой маленький, и тебе и не надо знать – и долго не будет надо, пока ты не станешь взрослым, и тогда внезапно тебе надо будет знать сразу все. Тебе надо будет знать, в какую тебе сторону. Тебе надо будет знать, чего ты хочешь и как этого достичь. Тебе надо будет знать, как перебросить мост из настоящего к будущему, и как сделать так, чтобы этот мост привел-таки к другому берегу, а не застыл, уткнувшись в воздух над пропастью.

Я слегка покачал его – из стороны в сторону – и стал смотреть, как за окном выются белые плетки метели. Он был теплый и не такой уж тяжелый, не тяжелее, чем мой рюкзак, но, в отличие от рюкзака, мне хотелось прижать его, вдавить в себя, спрятать у себя внутри. Если бы он был у меня внутри, то прежде, чем что-то случится с ним, это случилось бы со мной. Я смогу встать между ним и болью.

Я все еще стоял перед окном. В нем не было ничего, кроме нас – меня, его, ее, белого цвета в раме. Я оглянулся – она спала, положив одну руку на одеяло. Она не любит укрываться до самого подбородка, а я, наоборот, всегда натягиваю одеяло настолько высоко, насколько могу.

У меня не было другого выбора, кроме как – быть. В этот момент, освещенный белым, и сероватый по заднему плану, я мог только быть – дышать, слушать, как он сопит, чувствовать его вес в своих руках, чувствовать мягкость и одновременно жуткую хрупкость, и гудение снега, и треск ламп под потолком.

Потом он заплакал, и она проснулась.

Он довольно причмокивал, когда она наконец подняла глаза на меня.

– Ты не злишься, что я опоздал?

– Нет, – она покачала головой. – Я под конец вообще почти ничего не видела. Честно. Даже если в палату динозавр бы вбежал, я бы его не заметила.

Она перевела взгляд на него.

– А потом ты. – сказала она ему. – Ты. Теперь ты тут.

Я кивнул, хотя она разговаривала с ним.

44.

– Какой он у вас, ну какой! Богатырь! – захохала соседка с первого, которая не просто выбежала, а прямо-таки вынеслась на него посмотреть, сжимая свою дочь, как куль, в руках.

Она слабо улыбнулась и прижала его покрепче. Она вообще казалась странно тонкой после больницы, и все, что в ней было, сразу сошло и оставило ее прозрачной – через кожу было видно вены, на шее, на руках, даже на висках, а кожа казалась тонкой-тонкой – как бледно-желтый, почти кремовый первый блин, такой тонкий, что вот-вот прорвется в середине. При этом она не казалась хрупкой, как белобородый, а вполне крепко стояла на ногах, держала его и легонько качала.

– ...килограммов?

Оказалось, я не слушал.

– Что?

– Сколько килограммов?

– Эээ. Четыре. Даже чуть побольше!

– Ну, богатырь!

Она протянула руку и погладила одеяло, в которое он был завернут.

– Как назвали?

– Пока выбираем варианты, – сказала она и улыбнулась.

Это была неправда – имя мы уже выбрали, почти что до того, как он появился, или сразу после – теперь я уже не мог определить, когда имя прилипло к нему и так и осталось. Но нам не хотелось говорить его кому-то. Хотелось поддержать, подкидывать, как мяч, сохранить между нами.

– Выбираем, – кивнул я. – Вы простите, нам надо идти... сейчас холодно...

– Конечно, конечно! Я только так! У вас такое событие! Не каждый день бывает!! Я и сама... Я сама была так рада...

– Спасибо.

Она улыбнулась и перехватила свой куль.

– Если будет нужна какая-то помощь, какая угодно, посидеть с ребенком или ну... любая помощь! Скажите! – крикнула она нам в спину.

– Спасибо!

В лифте она спросила:

– Как думаешь, мы обойдемся?

– Без чего обойдемся?

– Без помощи.

Это было еще одно. Нас было только двое. И мы всегда знали, что нас будет только двое. И моя работа, которую нельзя было бросать. Невозможно было бросить, но сейчас я не думал об этом.

– Обойдемся, – сказал я.

Снег все еще шел.

Мелкий, колкий снег, который тонким слоем покрывал мостовые, улицы и дома и сразу же грязнился, сразу же стирался в кашу. Он не успевал покрыть их плотно, не успевал сделать целый толстый пласт на скамейках или сиденьях стадиона. Снег просто летел, летел, летел, заволакивая город белесым туманом.

Она опустила его в кроватку.

Некоторое время мы стояли и смотрели на него. Глаза у него были плотно сомкнуты, кожа красная и распаренная, кулачки сжаты. Он спал, и спал как-то так, как ни один из нас уже не сможет спать никогда в своей жизни.

Она всхлипнула. Негромко, но отчетливо.

– Странно, да?

– Да.

– Нас было двое, и теперь....

– Да.

– Мне кажется, я никогда не смогу к этому привыкнуть. И одновременно как будто он всегда был.

– Да, – сказал я, все еще смотря на него.

Даже в той минуте, где мы встретились, и его еще не было, странным образом мне кажется, что он там тоже был – нахмуренно смотрел на нас, переводя взгляд с одного на другого. Теперь я думаю, что ее тянуло туда, тянуло к нему, даже больше, чем к мне – и он тоже качался с пяток на носки, нетерпеливо заглядывал сверху вниз в нашу жизнь, готовясь прыгнуть.

А теперь он лежал в кроватке, внизу, и снег шел над всеми нами и всем городом, и он был так далеко, и было совсем глухо, и никто не мог до нас дотянуться, и телефон не звонил, но мне никого и не было нужно, кроме них.

Часть четвертая. Вверх

45.

Город празднует.

Я совсем забыл про это, но сейчас же праздники – и консьержка выставила на свой подоконник корзиночку, увитую лентой, и огоньки загораются и гаснут, когда я выхожу из дома что-нибудь купить и быстро, почти бегом, возвращаюсь, успевая только один взгляд к небесам поднять, но и его мне хватает.

Город празднует устало и так, как будто его заставили праздновать – часть букв на вывесках светится, а часть не работает, концы зеленых гирлянд волочатся по каменной кладке.

Я прошел по улице всего один раз, не помню, что мне было нужно – но видел, как желания парят и носятся в воздухе, как облачка пара. Материальные поплотнее, а нематериальные попрозрачнее. Я их сразу замечаю – они болтаются и висят на одном уровне с головами прохожих, вроде воздушных шаров неправильной формы. Воздух над ними и между ними гудит, от разговоров, от смеха, от музыки, и я устал, и город устал, и голова моя тоже гудит. Особенно от пожеланий счастья – чем больше желают, тем больше она наполняется глухим гулом.

Наверху наверняка есть склад того, о чем люди просят и мечтают. Я его не видел, когда шел мимо, но может быть, я просто не обратил внимания. Огромный распределительный центр, где подписаны все мечты по номерам, на ящике – имя, и дата, когда это надо выдать. Курьеры с тележками снуют туда-сюда, двигаются конвейерные ленты, по полу рассыпается пудра. Чья-то мечта огромная, и ее волокут сразу трое, сгибаясь под ее тяжестью. Чья-то кабинетного формата, и ее надо просто аккуратно спустить вниз, чтобы по дороге не треснула. Некоторые, длинные и жесткие, они запросто суют, как зонтики, под мышки, и подсовывают их, недолго думая, тому, кто пожелал, прямо под дверь, когда спускаются. Ничего нельзя вернуть. Все дефекты – за счет покупателя.

Город осунулся и даже как будто бы похудел, спрятался в серые тряпки, намотанные на него сверху. Дыхание не растворяется, а висит облачками белого пара, пока я иду через серую сонную темноту. Сбоку и сзади горят желтые огоньки, но куски льда один за другим заползают мне за шиворот, касаются горла, и я не хочу поворачивать голову. На перекрестке надо посмотреть, не втискивается ли в маленькую улицу огромный автобус. Он проплывает прямо у меня под носом и гудит, когда я уже было собираюсь сделать шаг вперед. Проходит мимо, почти мазнув мне по носу своими усталыми шубами внутри, освещенными желтым сиденьями и музыкой – рэпом, всегда только рэпом в их наушниках. Автобус исчезает, мигнув, но я вижу одного из тех, что живут на полях. Он стоит, улыбаясь, на противоположной стороне улицы.

Еще этого мне не хватало.

Это граница. Там, где он стоит, где я увидел его – сейчас его там уже нет – начинается голый, ободраный, неблагополучный район. Там ломается лед, плещет, как в ванне, вода, снег покрывает и холодный колкий дождь барабанит по столикам кафе, над которыми никто не удосужился прицепить навеса. Там никого нет по утрам, зато ночами шныряют туда-сюда худые фигуры с выглядывающими из спортивных штанов голыми ступнями. Шлеп-шлеп-шлеп – стучат по обледеневшим мостовым.

Почему из двух должно получиться одно?

Я настырно думаю эту мысль – почему, чтобы получилось что-то одно, обязательно должны сложиться вместе две части? Почему оно не может родиться из морщин внутри красного круга, появиться откуда-нибудь из складок, само по себе? Как восходит солнце – не нужно, чтобы сливались вместе два планеты, растворялись, и получался один белый солнечный диск. Две широкие дороги сходятся в один переулок, куда автобус-то едва протиснется; две глубоких траншеи становятся одним укрытием; две белые сплошные линии, нарисованные на дороге, и те сойдутся в одну. Когда-нибудь.

Все, что мы до этого прошли, нам придется отдать ему.

Постараться отдать.

Но то, что я увидел одного, да еще и в такое время – праздничное время – мне не понравилось. Причем он стоял еще и так, чтобы я его специально заметил, и он заметил, что я его заметил, и сразу же исчез. Это значит, что я слишком долго уклонялся от своих обязанностей, значит, что я был недостаточно старателен – но мне и не выдали отпуска. Потому что для таких вещей там отпуск не выдают.

И он стоял там, я был уверен, чтобы напомнить мне об этом. Но так, чтобы я не успел его поймать за боком проходящего автобуса. И так, чтобы не успел последовать за ним.

Не забывай, как бы говорит он. Не забывай. Город прострачивает сверху вниз одна и та же строчка. Не забывай.

46.

Я иду и думаю о том, что мы наслаиваемся сверху на все то, что уже было.

В городе вообще нет никого, кто когда-либо бы тут жил, и от кого не осталось бы никакого следа. Как падает дерево и его заносит песком – целые огромные ветки заносит, листва сливается с землей, корни выворачиваются на асфальт, а потом и они проваливаются, вжимаются в почву. Не помню, кто мне это сказал, или я сам подумал это – но все продолжают в чем-то. Пусть даже и во взгляде, который кто-то бросил на меня на узкой улице.

Даже в краске, которой окрашены стены – кто-то придумал ее карминный цвет, разработал состав, то, как она будет называться и кому продаваться – в одной этой краске, в камне, в обочине дороги, в табличке, в скамейке следы целых поколений. Они там зашиты, пусть даже их никто и не видит. В стенах и мостовых, в цветах и буквах, в воде, в молчании витрин, которые когда-то были лавкой краснодеревщика, а теперь булочная, а потом будут чем-то или кем-то еще. В спрятанных дворах с зелеными фонтанами, в парадных залах, за столиками кафе, в углах парков – нет такого места, где люди бы не оставили след.

В этом городе нет такого места, где чья-то душа не была бы и не оставила следов. Я хожу по миру прошлого – может, потому мне всегда и кажется, что кто-то сейчас выпрыгнет на меня из незнакомой улицы. Потому что в сточной трубе, в зарубке на стене, в лакированном, блестящем от дождя карнизе так оно и есть.

Все, что уже произошло, лежит прямо здесь, под нашими ногами. Мало кто утруждает себя об этом подумать, но это правда. Ночью легче еще и потому, что все, кто были когда-то, не создают такой давки – я выбираю их не видеть, но иногда у меня все равно чувство, что я плыву в огромном сонме рыб, косяке, и за спинами других, невидимых людей, людей в одежде прошлых веков, людей со связками вяленых туш и крынками молока в руках, людей на повозках, с узелками, стучащих башмаками и отряхивающих фалды фраков – и я не вижу города.

Город исчез, и они теснят меня, спешат и трутся друг о друга, как пассажиры в набитом до отказа автобусе или студенты на демонстрации – плечо в плечо.

47.

Воображение – ненадежная сетка. В нем полно дыр, причем в самых разных местах. Но мы перестали спать. Вот в чем было дело.

Мы перестали спать, и стало гораздо хуже. Месяцев через шесть после того, как он родился – тогда что-то прорвало и пережгло внутри нас.

В тот длинный, похожий на один сплошной тяжелый сон с редкими просыпаниями, период, когда он мало спал, я вдруг понял, что внутри у меня начали пропадать части. Стали обнаруживаться дырки в памяти. Дырки в воле. Дырки в голове. Да даже дырки в желании жить – но я-то знал, что с желанием жить у меня все в порядке, просто никому в этом не признавался.

В этот момент я не всегда мог разобрать, где я – смотрю на нас с ним сверху, или сплю и одновременно вижу, как беспокойно ерзает по простыне моя нога, или я сижу рядом с ней на кровати, и на ее спине видны напряженные, перекрученные мышцы, и я провожу рукой ей по волосам – все потому, что мне хочется как-нибудь облегчить засунутую в них боль.

В эти дырках что-то посвистывало. Сон мне тогда казался сильно привлекательней реальности. Во сне было так интересно, что я с удовольствием бы все время проводил во сне – но я проводил там только его отдельные лоскутки, которые таяли сразу же, когда я просыпался, а потом иногда еще всплывали, пока я дремал, в полуотключке, сидя в кресле или на стуле, едва не утыкаясь носом в кофейную чашку, даже не чувствуя запаха. Как будто запах мне тоже кто-то отключил.

Все то, что бежало тогда мимо меня, запустилось на ускоренную перемотку, и я не успевал разложить по своим пищеблокам, хранившим воспоминания, хоть что-нибудь, что можно было бы пришить конкретной датой. Все покрывало то, как мне хотелось спать. Мне просто слишком сильно хотелось спать. Мне ничего так не сильно не хотелось, как спать, просто спать, а не смотреть, как раскручивается эта бесконечная катушка сиреневых ниток.

Внутри меня пропадали и отключались прежде чувствительные зоны. Я все думал – а что, интересно, происходит с моим мозгом? Эти самые нервные окончания совсем сжарились, да? Мне и это было уже не настолько интересно.

Даже если они и сжарились, как почерневшие макароны на плите, и прилипли к чугунному сковородочному дну, то что с того? Пока он плачет, крепко удерживать его двумя руками, по привычке прижав к себе, не составляло для меня никакого труда. Когда он успокаивается, надо было опустить его аккуратно – потому что вдруг я засну и упаду. В том, что я буду стоять прямо и спать с ним в руках, как солдат на карауле, я был совсем не уверен.

Я жил во сне, который иногда ставился на паузу. В эти паузы надо было втиснуть много всего, и мы с ней по очереди давили на клавишу «плей» и передавали этот наш белый орущий комок друг другу, как эстафетную палочку.

Я перестал вспоминать тогда – воспоминания казались слишком затратным занятием, чтобы проходиться по ним с фонарем и что-то там отыскивать. Может, конечно, там что-то и было, но свет в этом пищеблоке выключился, и в этой зоне стало темно и холодно, и как в холодильнике, и висевшие там мясные туши, слегка похожие на туши бывших жен, размещенные на стенах Синей Бороды, стало не видно.

Я нахмурился на натертый песком ключ, на котором виднелись капли крови.

Мы нырнули вместе. Иногда один из нас пытался выбраться на поверхность и о чем-то поговорить с другим – и мы даже говорили, и если бы хоть один из нас вспомнил, о чем мы говорили, на следующий день, это было бы вообще отлично.

За окнами было небо, это мы помнили точно – оно не меняло цвет утром и вечером, примерно оставалось одним и тем же, и вообще трудно было так вот сразу сказать, где начинался день и где он заканчивался.

Пожалуй, заканчивался он тогда, когда гасли огни у овощной лавки, и все ящики с овощами и фруктами, пожухшими, твердыми, и еще совсем свежими, и помятыми ставили друг на друга и гасили свет. Опять свет. Когда гасят свет, ничего невозможно различить – и я снова засыпаю.

Я выходил на улицу и с трудом понимал, где я, и почему мостовая так выгибается и сопротивляется моим ногам – я шел вперед, покачиваясь и с усилием, а когда приходил, то оказывалось, что лавка уже закрыта, и я некоторое время просто стоял и тупо смотрел на дверь, где были развешаны разноцветные объявления и крест-накрест наклеены телефонные номера и афишки с полураздетыми женщинами. Я плелся, так же шатаюсь, домой, потому что лето – а тогда было лето, по крайней мере иногда мне казалось, что это действительно лето – меня изнуряло и я, чуть не дойдя до подъезда, внезапно чуть не забывал, почему я возвращаюсь с пустыми руками. И почти поворачивал обратно. Вдруг в следующий раз я проснусь наконец, и лавка будет открыта? Вдруг правда? В двери будет желтый свет, и владелец высунется оттуда своей улыбающейся чумазой физиономией и позовет меня внутрь?

Помнится, когда надо было все-таки смотреть на часы, они каждый раз показывали разное время. Очень странно – я готов был поклясться, что смотрел туда ровно две минуты назад, но ничего подобного на циферблате не было.

– По-моему, время у нас кто-то крадет, – сказал я ей однажды. – Может, выследим его?

– Ага.

Глаза у нее были полузакрыты, и она так и говорила, ровно, не открывая их, – ресницы только немного шевелились от дыхания.

– С саблей.

– Что?

– С саблей.

– С какой саблей?

– А. Ну какие там бывают сабли.

Она зевнула.

– Деревянные? Как у пиратов?

Большая часть наших разговоров были такими. Отдельными словами, полупшепотом, неотчетливыми, разомкнутыми и порванными посередине. Даже в словах были дыры – если во всем остальном да, то почему бы и не в словах.

Это ничего не значило, потому что у нас обоих было чувство, что сигнал другому послан и обязательно придет. Даже сабля, которая вполне могла бы повиснуть на потолке нашей комнаты и нечаянно свалиться одному из нас на голову – все равно не повисла. Я подхватил ее за деревянную рукоять и помахал немного.

Между обрывками сна невыносимо было жить. Но когда я думал это «невыносимо», то думал про эту самую саблю.

Выследить время у нас так и не получилось – оно все равно уходило. Как прохожий, заворачивало за угол улицы. Как водитель автобуса, захлопывало двери перед нашим носом и отказывалось подождать. Обычно это означает, что у водителя плохое настроение. Какое настроение было у времени, я не знаю.

Никто не предупредил нас, что оно будет нестись такими скачками, покрывая сразу недели своими длинными ногами, которые то складывались в гармошку, то снова распрямлялись, как у кузнечика. Когда он долго не засыпал, я рассказывал ему про секретного агента-время. Плоского типа в очках с квадратной головой, который тем не менее ловко перемещался по листу, согнув одну руку в локте и сжимая в ней револьвер. Он вечно исчезает, когда надо проследить за его перемещениями, и появляется и сидит рядом, когда он совершенно не нужен. Секретный агент-время. Я сбивался и начинал рассказывать снова.

– Мда, это не усталость, – сказала она как-то. – Усталость давно пролетела мимо.

Усталость действительно пролетела мимо, где-то еще в начале дистанции. Усталость это где-то там, где бегунам дают стаканчики с водой, и они сжимают их за край двумя пальцами, быстро опрокидывают в себя, выбрасывают на обочину и бегут дальше, перебирая мускулистыми ногами.

Усталость это где-то там, где тебе могут утереть со лба пот. Где горизонт не кренится чуть влево, и ты не можешь понять, это ты наклонил голову или горизонт все-таки кренится, и, пока ты пытаешься его поправить, обнаруживаешь себя опять во сне, а потом в следующем дне. И день этот наступил, никого не спросясь.

Усталость это там, где зоны внутри тебя еще не начали по очереди отключаться. Где сигналы бегут по целым белым, хоть и раскаленным, нервным окончаниям. Где лоб не покрывается испариной, мышцы не твердеют до дерева, а в затылке не затягивается узел.

Я иногда стараюсь специально зайти в то место моего мозга, где теперь отключили свет. Стою посреди белого пятна и оглядываюсь – может вспомню что. Может, чего-то захочу. Почему я не могу испытать сочувствия? Я обнаружил, что сочувствие отключилось, случайно – ковылял домой из той самой закрытой по ночам лавки и на асфальте увидел очертания раздавленного голубя. Не пятно, а именно очертания на поверхности, как оттиск на камне. Может, ночной счет давал такой эффект, а может, у меня перед глазами все плыло.

Я отчетливо видел контур поднятых, сложенных вместе пушистых крыльев. Я смотрел на эти линии просто так, как на оттиск движения, как на вечно отраженное желание двигаться вперед – и бесконечное припечатывание, припечатывание, припечатывание его настоящим.

Я не хочу улететь. Нет, я не хочу улететь. Я хочу пролететь – сквозь наш дом насквозь, влететь с южной стороны и вылететь с северной – если бы я был голубем, то

спикировал бы с крыши и сделал именно так. Правда, гнезда они строят на стороне, обращенной к солнцу. По ночам я слышу их громкое и настойчивое воркование.

Пролететь, чтобы он начал спать, действительно спать, и ночь стала ночью, а днем, а паузы между сном стали становиться все длиннее и длиннее, и сам сон уже не был похож на сидение в темном кинотеатре, где на проекторе бесконечно крутили засвеченные картинки. Иногда мелькали подписи, но они были на иностранном языке, или лица, белые и плоские, обращенные друг к другу.

Ко сну даже вернулась его прежняя глухая сладость – выдавались участки, где картинки вообще перестали крутиться, и в мозгу не плелись бесконечные белые нити. Не сразу, но все-таки вернулась.

Бывают дни, когда дождь хлещет и стекает по стеклам с обеих сторон дома – мы просыпаемся как в корабле. Вернее, я просыпаюсь один – но слышу, как на кухне она стучит ложками, открывает кухонный шкаф и напевает себе под нос.

Я зажимаю глаза и представляю, как качаются из стороны в сторону верхушки деревьев, как горбится пешеходный переход, как набок наклоняются бордюры и урны, и целые районы раскачиваются с одного бока на другой. Еще не открывая глаз я знаю, что дождь будет идти целый день.

48.

В моем изжаренном мозгу есть что-то умиротворяющее. Там есть пустота. Если присмотреться, чуть-чуть прищурив глаза, то я окружен стеной потрясающего равнодушия. Я равнодушен к тому, что захожу в магазин – здесь почти все желто-оранжевое, и с трех сторон меня обступают витрины – и на кассе ко мне вдруг подходит паренек почти с моего роста, в капюшоне, надвинутом глубоко на лицо, и ровным голосом просит дать монетку. Под капюшоном я вижу его глаза. Я только долю секунды вижу его глаза, и вижу их так же поверхностно, как витрины магазина – формы, а не надписи. Пестроту цветов, а не то, почему вон там розовое пятно, а там растекся жидкий желтоватый крем. Его глаза совершенно пусты, совсем пусты, так, что мне на полсекунды кажется, что я никогда не видел настолько пустых глаз. Я не успеваю заметить, расширены ли зрачки, или сжаты в точку – но мне кажется, что из капюшона на меня смотрит пустота, и она же говорит со мной ровным голосом. Ей нужна от меня всего лишь монета, этой самой пустоте, но монеты мало, чтобы откупиться от ее навязчивого присутствия. Может быть, кусок хлеба ей нужен тоже, но странно представить, что это существо вообще поглощает хлеб. Мне не страшно. Мне даже не жаль. На месте пустоты что-то было, точно что-то было, до того, как у него по венам побежало то, что не должно было бежать. Нужно было бежать, думаю я, подцепляя краем пальца монету в кошельке. Я забочусь о том, чтобы мой палец не коснулся его пальца, когда я ее передаю. Нужно было бежать совсем в другую сторону.

Я отворачиваюсь к кассе, и в следующий момент его уже нет – и на улице нет, и за витриной нет, и даже за моей спиной нет – мне вдруг кажется, что он вот-вот выпрыгнет оттуда. Я только догадываюсь, куда он пошел.

Равнодушие смыкается вокруг меня стеной.

В моей памяти, как на какой-нибудь овощебазе, есть отсеки и пищеблоки. Желая вспомнить что-то конкретное, я обычно вваливаюсь не туда. Игла, которая ведет меня, острый инструмент – кривится и разрезает ткани, и я натыкаюсь вообще на то, куда соваться

было совсем не нужно. Воспоминания теперь нельзя перебирать – то и дело надо отдергивать руку.

49.

– А знаете, он все-таки не сам! – хвастливо заявила мне соседка с первого, когда я в следующий раз ее увидел – и еле узнал.

Оказалось, что из моей памяти с дырами она тоже почти стерлась.

– Они еще раз приезжали, осматривали квартиру, осматривали дом, и знаете, сказали, что он вполне мог и не сам, хотя я и сказала, что конечно не сам, как мог человек за семьдесят сам взобраться на подоконник, как вы вообще себе это представля...

Она резко осеклась и вгляделась мне в лицо.

– Вы как-то плохо выглядите.

Она продолжала вглядываться, обеспокоенно.

– Вы не спите?

Я помотал головой.

– Теперь уже лучше. Почти сплю.

– Почти?

– Почти всю ночь, – похвастался я.

Это было преувеличение, но я начал спать хотя бы больше трех часов подряд, и те места, где раньше были разрывы ткани, и я не понимал, сон это или жизнь, понемногу начали затягиваться.

– Или вы это по поводу того, что в новостях говорят?

– Я не смотрю новости. И не очень... вы извините, мне в последнее время было... не до того.

Я тяжело прислонился спиной к дверному косяку.

Она помолчала, прикусывая нижнюю губу.

– А что? Что в городе говорят?

Наконец она, казалось, решилась, наклонилась и просвистела мне в лицо:

– Атака. Говорят, будет атака.

Сердце рванулось, упало, и вдруг сразу стало не хватать воздуха, как будто кто-то огромный двумя руками надавил мне на грудь.

– Когда?

Это все, что я смог из себя выдавить.

– Да откуда ж я знаю, когда. Может, на следующей неделе, может, через две или через месяц. Но говорят, что скоро.

Она наклонилась еще ближе.

– Вы правда ничего не знаете?

Шпион, вспомнил я. Этот белобородый кретин болтал, что я шпион, и весть теперь, конечно, разнеслась по всему дому. Не будь у меня постоянно орущего новорожденного и синяков под глазами землисто-серого цвета, стало бы, конечно, понятно, что я организовал у себя в квартире настоящую ячейку, куда днем и ночью идут люди, и к тому, что тот шагнул со своего подоконника, я, конечно, имею самое прямое отношение. Хотя я имел какое-то отношение. Но уж точно не прямое. Но это было не для ее ушей.

Зачем, интересно, они приходили снова? Кто-то навел? Или что-то кому-то сказали?

– Не знаю, – я покачал головой.

– И что? – спросил я, все еще не отрывая голову от косяка. – Будет расследование?

– Не знаю я насчет расследования. – она оглянулась по сторонам. – Но атака – вот что точно будет. Я чувствую, будет. Думала, они уже закончились, а они...

50.

Я знал, что такое атака. Конечно я знал.

Это ночи, когда город, весь, полностью, погружается во тьму. Отключаются фонари – обычно они не гаснут до самого утра, но их как будто кто-то выкручивает рукой в толстой перчатке, сразу все.

Если закрыть глаза руками, то трудно забить их сразу так, чтобы ни одной точки, ни кусочка света, ни красноватого сияния из-за зажмуренных ресниц не просочилось туда. Но когда город становится темен, он становится темен именно такой темнотой – гробовой, глухой, черной без блеска. Не горят фары у машин, не зажигаются окна, не искрят провода, не желтеют окна вагонов метро, когда оно стрелой пролетает по мосту. У зданий нет подсветки – маленькие звезды на стенах, которые всегда мерцали мне и были почти нежны, и те исчезают. Выключаются витрины, светящиеся дорожки, вывески с выпуклыми буквами и взлетные волосы у самолетов. Нет больше ручного огня ночных кафе, нет костров с жутким сладковатым запахом, нет свечения магистралей и нет сигнальных огней.

Город становится черным – таким черным, как будто бы его совсем нет. Я представлял, как он выглядит сверху, сбоку, с воздуха, что он стоит на огромной доске, которая начнет разъезжаться, а он – оседать, медленно опускаться вниз, пока земля не поглотит его полностью. А где тогда буду я?

Я все еще двигаюсь во этой доске – у меня при себе нет фонарика, нет ничего светящегося, я как волос, который шевелится на ветру посреди всего этого оцепенения. Я иду ощупью, иногда отводя руку от тела, чтобы отмерить расстояние до забора, до тонкого витринного стекла, до дерева, которое в темноте дружелюбно наклонилось к моему плечу.

Город темнеет и ждет – ждет черный квадрат стадиона, ждут черные улицы, ждут черные проемы окон, ждут черные мусорные баки, отодвинутые подальше вглубь дворов. Но оно снова не наступает, гроза не приходит, ночь проходит спокойно, или почти спокойно – грохот слышен вдалеке – и утром, когда он откроет глаза, а потом засопит, просунув палец между деревянными прутьями, и заорет что есть силы – все будет как обычно.

Город стоит где был. Все как всегда.

Одно только мне интересно – где он такими ночами? Он – тот, про кого сказал белобородый, тот, что наверху, внизу и везде.

Может, он сидит, заткнув рукой луч прожектора, а может, забавляется, откидывая подальше от цели огненные дожди. А может быть, он просто смотрит. Не закрывает глаза рукой, не отводит ото лба мокрую прядь волос, не щурится и не оттягивает краешек глаза пальцем, чтобы разглядеть получше. Он просто смотрит – и видит. И глаза его полны слез.

Я иду быстро, почти ожесточенно, выжимаю из своих ног все, что могу. Почему все устроено так? Почему сейчас? Почему именно мы должны быть в эпицентре смерча? Фигурки двигаются во мраке, кто бредет, кто скачет, кто взлетает вверх по лестнице, кто ходит туда-сюда по лестничной клетке, кто болтает ногами, сидя на краю постели. Каждая фигурка описывает свой собственный круг, танцует в своем диаметре, иногда осторожно касается ножкой того места, что вне круга, притоптывает и аккуратно поворачивается то вправо, то влево. А потом глаза ее слепит свет – это круг его прожектора, луч, в который он

ловит то одного, то другого. Ничего нет небезопасного в этом луче, кроме того, что в этой колонне света все становится слишком очевидным.

Людам свойственно прятаться от высшего – отступать обратно в темноту, туда, где по их лицам будет только иногда мазать слепой отблеск.

Хотел бы я знать, случается ли это со всеми – этот момент ослепления, мгновение, когда ты стоишь в холодном желтом луче, задрал лицо вверх, и он смотрит на тебя.

51.

В городе стоят странные погоды – серый дождь, который обдаёт улицы, и вывески, и транспорт, и облака одним маревом, блестящим и брызгающим мне в лицо. Оно не огибаёт меня – наоборот, так и тянется накрыть. Я пробираюсь вперед медленнее, слежу за тем, чтобы не замочить ноги, случайно утопив ботинок в луже у самого бордюра.

Он болеет – громко кашляет по ночам, неумело кашляет, немного даже смешно, и будит сам себя, и я с закрытыми глазами сползаю с кровати, и иду, покачиваясь, в направлении его плача. Он совсем обмяк и устал, и не знает, как еще сказать о своем горе, поэтому говорит громким криком, а потом еще кашлем поменьше.

Мы не болеем вместе с ним, но немного все же болеем – смотрим в его беспокойные глаза, которые следят за нами снизу вверх, и не отходим слишком далеко. Иногда, когда я сижу в ночи на полу, и усталость прибывает меня вниз, не позволяет подняться и пойти спать, сквозь полузакрытые глаза мне кажется, что я приближаю утро. А когда оно правда приходит – серое и хмурое, мне хочется взять и распахнуть пошире балконные створки, и впустить внутрь холодный и мокрый воздух, чтобы он почувствовал, как город машет ему издалека. Дать городу немного пощекотать его – пальцем по подбородку, поцелуй в макушку.

Она берет его на руки и садится у окна – он неизменно поворачивает голову туда, куда льется свет, а она губами касается его лба – один раз. Два. Три. Прижимает поближе к себе и касается снова.

Я целую его только тогда, когда с ним один. Это наш секрет – и он смотрит на меня хитро и довольно, как будто бы говорит: «Не волнуйся, я тебя не выдам». Скоро он, наверное, начнет говорить, и скажет что-нибудь по этому поводу, и кончится наш с ним безмолвный договор.

Когда он болеет – борется с чем-то чужеродным, что вселилось в его тело и отказывается отпустить – он кажется мне еще более маленьким. Я иногда вдруг замираю посреди кухни, или в коридоре, когда натягиваю ботинки, или на странице книги, которая давно уже расплывается у меня перед глазами – иду на него посмотреть и вижу, что он не такой, каким был на прошлой неделе. Не такой, каким был вчера. Иногда мне кажется, что я сплю с открытыми глазами – а когда их открываю, то он каждый раз другой. В такие дни – когда я сплю, но на самом деле не сплю – мы молчим. Я так устал, что могу только сказать спасибо. Вернее нет, я даже сказать спасибо не могу – я просто думаю это, и надеюсь, что она слышит.

52.

Когда температура у него немного снизилась и он начал спать – несколько дней спустя, всего лишь несколько дней, а мне показалось, что прошло года полтора – она спросила:

– А мы будем его крестить?

Моя рука замерла в воздухе.

– Мы будем его что?

Я обернулся к ней. Она стояла в другой стороне комнаты, перед вазой с цветами, в которых только что поменяла воду, и обеими руками поправляла букет.

– Ты слышал что.

– Ты этого хочешь?

Она поправила два последних бутона и опустила руки.

– Не знаю, – она прикусила губу. – Хочу.

– Думаешь, это ему поможет? – пошутил я. – По жизни?

– Я просто хочу... ну.

– Что?

– Его как-то защитить.

– В смысле мы его не сможем защитить?

– Что-то выше.

– А так, без... – я искал слово, – церемоний его не защитят?

– Я не знаю, – она сцепила руки перед собой и теперь смотрела на них. Пальцы побелели. – Я не знаю.

– Не знаешь, – повторил я.

– А ты что об этом думаешь?

Сейчас я, видимо, должен отказаться. Или как минимум возражать.

И мне надо было принять решение. Прямо в этот момент мне надо было принять решение, к которому я не был готов. И, возможно, никогда не буду готов. Но принять надо было прямо сейчас.

Мне вспомнилось кое-что. Прямо в тот момент – воспоминания иногда залетают в мозг, когда они больше всего нужны.

В тот день я не работал – просто показалось красивым, как утыкается в небо треугольная крыша и как блестят и переливаются циферблатом часы, как бежит по витражам минутная стрелка – и я зашел внутрь, просто так, толкнув створку недавно покрашенных дверей. Внутри было не так, как снаружи – полутемно, пусто, ряды обычных коричневых стульев, а не длинные грубые скамьи. Я посмотрел вдоль анфилады вглубь, а потом вверх – свет всегда уходит вверх, рассеивается в вышине, и уже непонятно, куда он потом девается.

Их было немного – я видел только белую ткань, отблеск золота, руки, которые придерживали, чуть раскачивая, сверток – туда-сюда, туда-сюда, и почему-то надутые маленькие щеки – я не мог видеть их на таком расстоянии, наверное, я это придумал, и все-таки я видел – сощуренную, сморщенную красную мордочку. Я посочувствовал ему – это было острое, мгновенное чувство, как резкий вдох, и легкие вдруг полны холодного воздуха. Испытывать боль еще до того, как мы узнаем слово «боль».

Они были сосредоточены на том, что делали, и не оглянулись на меня. Но бог был там – не потому, что я что-то видел, не потому, что видели они, а потому, что я просто подумал о нем, подумал о нем так естественно и просто, как будто бы он был рядом. Куда бы я ни смотрел, я был к нему повернут, и это одновременно раздражало – как будто мне негде спрятаться – и успокаивало.

Со своей привычкой все разбирать и во все вдумываться я бы так хотел, чтобы там, внутри, под сводами, ничего не было. Чтобы я вышел и забыл, как под сводами прокатился крик, и бог был там и смотрел, улыбаясь, прямо на меня.

Что скрывать – иногда я хотел бы, чтобы там никто не стоял. Чтобы я мог сказать с совершенной точностью, что все придумано, и что я спрашиваю, как дурак, советов у пустоты. Что его нет. Что в него бессмысленно верить. Что я закрываю глаза и опускаюсь внутрь, но там никого нет, только нерасступившийся мрак, предрассветный туман, который в очередной раз накрывает город.

– Я хотела бы, – сказала она. – До того, как... ну. Знаешь.

– Знаю. – сказал я.

Потом я сказал:

– Я узнаю насчет того, где это можно сделать. И когда.

Она еще раз поправила букет и кивнула.

– Ты не думаешь, что это глупо?

– Нет.

– И ты не думаешь, что это не нужно?

– Тоже нет.

– Или что это мой каприз? Я...

Я повернулся к ней. Посмотрел на нее.

– Если это вопрос, верю я или нет, то я верю. Если это вопрос, поможет это ему или нет, я не знаю.

53.

Я мало знал о самом обряде. Мало знал о том, как это бывает. Я только знал, что нам – ей – надо найти крестных родителей, и явиться в храм в назначенное время. И отвечать на вопросы, и подгадать день, чтобы она могла зайти, и иметь... одежду, и еще много чего, что соседка с первого торопливо наговорила, когда узнала.

– Дело хорошее, – сказала она. – Я и сама собиралась, думаю, в следующем месяце. Или через два. Три. Как с дочерью соберусь.

Они с дочерью не выходили почти никуда, поэтому я сомневался, что она доберется до церкви, пока дочери не исполнится года два. Но кто знает.

– Я сама не то чтобы... верую, – сказала она нерешительно. – Нет, не то чтобы... но думаю, все равно дело хорошее. Раньше же всех детей крестили, правильно? Потом обычай потеряли. Сейчас это... непопулярно, но лично я думаю...

– Да, – сказал я.

Лицо у нее теперь еще больше запало, как провалилось внутрь, и пожелтело.

– Вам бы к врачу сходить.

– Схожу, схожу. Не думаю, что у меня что-то... ну, не то. Так, болячки, но ничего страшного. Живот побаливает, – она отмахнулась. – И не сплю в последнее время. Плохо сплю.

– Весь дом плохо спит, – сказал я. – Окна горят до четырех утра.

– У некоторых до семи! Всю ночь! Отсвечивают мне в окна, не дают спать! Приходится все зашторивать наглухо! Ребенка в самый темный угол кладу, чтобы она не проснулась – можете себе представить?

– Да. – подтвердил я.

Потом сказал зачем-то:

– Видимо, после затемнения. Все включают свет. Даже ночью.
Она только покачала головой.

54.

Не то чтобы я бывал в церквях мало – я бывал в церквях достаточно. На экскурсиях, заходил туда просто посидеть, когда ноги болели от бесконечной, многочасовой ходьбы – это случалось со мной редко, но иногда все-таки случалось. Мышца в бедре начинала мелко дрожать, и каждый раз, когда я ставил ногу, в таз отдавало болью, и я понимал, что надо притормозить.

Я шел вдоль ряда статуй, порталы и портики, колонны и обнаженные мраморные ступни в сандалиях, аккуратно поставленные так, чтобы ни один пальчик не съезжал вниз. Не так, как когда стоишь и раскачиваешься на краю перед тем, как прыгнуть в воду. Я мог бы поднять руку и взять ее за мраморный подбородок – на плече собираются белые сладки, и лицо ее нежно. Завиток у уха почти сполз на округлую щеку, а губы разошлись, как будто она бежала и вдруг остановилась, и застыла, навечно дыша открытым ртом. Вдруг все они просто застыли, а однажды, когда-то очень давно, они были мной, и тоже думали о конце пути, или пили вино и не думали, потому что он мог наступить в любой момент? Как они относились к своему времени – как к разматывающейся ленте или как к колеснице, которая несется в стену, с какой бы точки не направлялась?

Я бы поправил завиток у ее щеки, пальцем отведя его за ухо. Ямочку на подбородке удобно трогать указательным пальцем, на шее еще блестят солоноватые капли, цвет кожи все теплеет и теплеет, влажнее становится взгляд.

Сверху они смотрят на все. На то, как молодой человек на тонких и ломких ногах несется к автобусной остановке, натянув на голову куртку. Как автомобилисты машут руками из окон, а вот тот господин с зонтом медлит, прежде чем зайти в здание, и вглядывается в вывеску. Как в ящики привозят почту и как спешат ночью домой одинокие велосипедисты, вглядываясь в огни светофоров и ожесточенно крутя педали. Статуям дано видеть все – и ни в чем не участвовать. Наверное, поэтому они так равнодушны. Их взгляд – это не взгляд наблюдателя. Это скользящий взгляд того, кому все равно.

55.

В большей части церквей теперь никого нет. Почти никого. Когда мы зашли, там тоже почти никого не было.

– Вы никого не пригласили? – спросил меня мужчина. – Будете только вы и ребенок?
А крестные...

Я только посмотрел на него.

Одна крестная у нас все же была. Ее подруга, другая, не та, что русалка с зелеными волосами. Я, кажется, видел ее до этого только один раз. Эта была куда более полная, основательная и молчаливая, с длинными темными волосами, на которые был наброшен темно-коричневый платок. Она была в холщовом платье почти до пола, и почти все время молчала, и даже ни разу не взглянула на меня – смотрела вместо этого или на нее, или на ребенка.

Она обняла подругу одной рукой.

– Так давно тебя не видела.

– М-м.

– Столько лет.

– М-м.

– Так хорошо, что ты согласилась!

– М-м.

Подруга аккуратно взяла его на руки. Он проснулся и с любопытством оглядывал храм. Я вдруг подумал, что это первый раз, когда мы дали его кому-то подержать, кроме докторов и акушеров – эта молчаливая, мечтательная девушка с тяжелыми волосами и такой же тяжелой походкой – я видел, как она идет, слегка переваливаясь из стороны в сторону – оказалась первой, кому это было доверено.

– Как, говоришь, ее зовут? – спросил я, наклонившись к ее уху.

Она посмотрела на меня укоризненно.

– Не может бы, чтобы ты не помнишь. Ты же уже ее видел!

Я закатил глаза.

– Это давно было. – сказал я не очень убедительно.

– Ага.

– Шшш!

Оно началось.

Я оглядывался и оглядывался и все никак не мог понять, почему у меня такое странное чувство. Я чувствовал себя здесь... как будто меня вырывают из меня, ведут куда-то. Как будто мне хочется взорваться, расшириться и заполнить храм целиком. Не то, чтобы как где-то, где мне не полагалось быть, вверху или внизу, хотя, конечно, вверху было не так, как тут. Тут атмосфера висела так, что можно было отрезать от нее ломти, как от огромной головки сыра, а там все расплывалось, рассасывалось, переходило одно в другое. Здесь как будто бы за тебя все уже решили, а там решить надо было тебе самому.

Мы послушно отвечали на все вопросы, который задавал мужчина в облачении. Мы отвечали, и смотрели на него, и он смотрел на нас, так торжественно, и она шепнула: «Где крестик?», и я достал и передал ей.

Меня самого крестили подростком, даже чуть позже, в тот короткий пробег, когда я из подростка становился молодым мужчиной – самый край, когда фантазии превращаются в реальность или разбиваются о нее. Само крещение я плохо помню, а еще хуже помню то, почему я на него согласился. Мне было по большей части все равно. Бог любит всех. Так мне тогда говорили, или говорили, когда это происходило? Так говорили, но я тогда все еще был подростком и не думал, что он любит конкретно меня. Я не думал, ни тогда, ни потом, что ему есть до меня хоть какое-то дело. Только тогда, когда у меня начали проявляться способности, этот вопрос возник опять.

Уж если он есть, думал я тогда, то, наверное, он любит звучание мысли внутри меня, проходящий сигнал, эту ноту, но вряд ли меня самого. Готов поспорить, что ему нравится сам процесс – щипаешь струну, и она дергается, и издает звук, сначала резкий, а потом более мелодичный. Иногда мне кажется, что он так забавляется, проталкивая через мою голову и тело целый поток мыслей, которые я обрабатываю по большей части в одиночку, когда иду.

Когда я был моложе, и способности только начались, и я еще никого не искал, и даже не знал, что я буду заниматься этим профессионально – я представлял его как профессора в университете. Я захожу на кафедру, да даже прямо в его кабинет, но не застаю его – его никогда там нет. Я прислоняюсь к дверному косяку и обвожу пустой кабинет взглядом. Это такая шутка, игра, в которую он играет со мной – я вижу край его плаща в автобусе, но за

его сандалией уже закрываются двери, и я не успеваю вскочить внутрь. Я заворачиваю за угол как раз тогда, когда он исчезает за углом впереди – всего десять метров, но даже если я побегу вприпрыжку, мне все равно не удастся увидеть его, только его спину, волосы, только намек на то, что секунду назад он рассек эту толпу и опять скрылся.

И не то чтобы я сильно хотел его увидеть. В молодости я хотел сильнее, но с взрослением я понял, что ответы на свои вопросы придется искать самому.

Я поднял глаза к потолку. Я должен был смотреть на него, на купель, на мужчину в облачении, но мои глаза как будто тянуло туда – и я посмотрел вверх.

Если бы я мог спросить, если бы я мог сформулировать в рое мыслей хотя бы один вопрос, я спросил бы, наверное, про тех, которые опираются на него слишком. Про тех, кто стучит к нему в дверь по каждой мелочи, кто сигает с края пропасти, не смотря вниз, а просто ожидая, что его поймают. Про тех, кому он так нужен, что ничего не происходит без него. Нельзя ни заснуть без него, ни проснуться без него, ни порадоваться и ни погоревать без него. Как же самим отвечать на поставленные вопросы – боязливо оглядываются за левое плечо, ведь он, в их представлении, всегда стоит там и сердито поджимает губы, если они сказали что-то не то.

Напоминать о своем существовании ему тоже надо постоянно – дружелюбно огорчаться, если оставил, падать на колени, чтобы помог. Телефонистка повторяет номер по одной цифре, разносчики у метро надсадно кричат одно и то же, восемь часов подряд, а они все твердят и твердят его имя, успокаивая себя, ожидая, когда он наконец придет. Каждый день они ждут, поглядывают наверх, как я сейчас, а в конце дня убеждают себя, что он обязательно появится – и самое смешное то, что, когда он действительно появляется, мало кто из них способен его разглядеть.

Он стоит рядом и смотрит на них вопросительно, как иногда смотрит на меня, когда вопрос уже собрался комком воздуха у меня во рту. И вместо того, чтобы посмотреть ему прямо в лицо, они не отрывают взгляд от экрана, продолжают бормотать под нос его имя, идут или едут, вцепившись в сиденье, как будто рядом никого нет. Когда он рядом, они съеживаются и начинают звать тише, но все равно зовут – и он наклоняет голову на их зов. Мне кажется, я знаю, о чем он думает – дать тебе то, о чем ты просишь, ты же не сумеешь этим распорядиться. Положи я свою ладонь на твою руку, вскинутую к небу – что поменяется тогда? Ты же подумаешь, что это просто ветер.

– Эй! – она дернула меня за рукав.

– Извините, – я помотал головой. – Прошу прощения.

Снова надо было повторять слова. Крестная – теперь оно у нее стало лицо страдальцы, чистой страдальцы, хотя на входе в храм я готов был поклясться, что лицо было другое – аккуратно держала его на руках.

При всем моем уважении, тебе я его не отдам. Верю, но не отдам – это не одно и то же.

Есть и другие, которые верят так истово, что, когда один раз увидели свет, или думают, что увидели, больше не могут отвести от него взгляд. Что им не скажешь, глаза их устремлены туда, откуда он льется, и думают они тоже только о том, чтобы встать к нему поближе. Вера для них – это столб, по которому они карабкаются к небесам, уцепившись руками и ногами. Тех, что внизу, это жутко раздражает, потому что поделаться с ними, пока они висят на своих столбах, ничего нельзя – а я, наоборот, иногда жалею, что мое тело не

может наполнить эта легкость, эта предопределенность всего, эта их нерушимая уверенность, что бог – внутри, и его не надо искать, что все, что они уже сделали или еще сделают, будет не от их имени, а от его.

Все можно прикрыть им, не так ли. Он как одеяло, которое укутывает их, и которым прикрывается все, что они уже сделали или еще сделают. Он прикрывает зло, прикрывает добро, закрывает собой улицы и проспекты, высится над стадионами. Он все вмещает – и эти, с белым светом посреди темечка, становятся переводчиками того, что он говорит, а то и добровольными секретарями, которые не позволяют никому зайти в его приемную. Еще чего, захотел увидеть бога лично – поговори вначале со мной, я тебе растолкую, что он хотел сказать. Они никого не пускают, выталкивая обратно вниз. У них нет и жалости – белый свет не допускает милосердия, куда лучше засовывать в него, как в топку, сколько угодно людей. Скармливать их туда, по одному, утрамбовывая, слегка хмурясь, когда они входят в жерло не совсем компактно.

Одни сигают в бездну потому, что он рядом, а другие потому, что его рядом нет. Что отличает тех, кто падает, от тех, кто разбивается?

Вот этот вопрос достаточно четкий, чтобы ему задать. Этот вопрос я мог выговорить вслух.

И в храме донеслось, в высоте, я готов был поспорить, что донеслось:

– Ничего.

56.

Он плакал, и я прижимал его к себе. Я не помню, как он оказался в моих руках. Он прижимался ко мне, и плакал, и я держал его, и она что-то говорила, и все, кажется, уже готовились расходиться.

Некоторые сигают потому, что он рядом, а некоторые потому, что его рядом нет. Да. Но может быть, я ошибался насчет них? И они делают это не потому, что бегут оттого, что позади, на секунду зависая над пропастью, а от того, что так долго всматривались в то, что впереди, во взрыв света, и решили, что именно этот выход им нужен, осталось только дернуть ручку, и все, кого они оставят после себя, будут только более свободны после того, как они прыгнут?

Но это не так, думаю я – это всегда было не так. Это всегда было не так – страдание не умалется и не уменьшается, оно только перераспределяется – тяжесть ложится туда, чего раньше она только касалась. К краю пропасти подступают другие ботинки.

Я прожил уже достаточно, чтобы знать, что тебя все равно выкинет, как сор из трубы, по которой несется вода, в тот же самый круг. Придется снова открывать тетрадь и начинать с того же места, и если ты опять порвешь ее, то он найдет другой способ заставить тебя выучить урок. Так всегда бывает. Во всяком случае, я уже не удивляюсь, когда раз за разом возвращаюсь на одно то же место, хотя и не думал туда направляться – я прохожу по нему снова и снова, и вглядываюсь в этот раз чуть внимательнее. Слегка лиловое небо с любопытством смотрит на меня между крыш – а я смотрю на него. Глупо делать вид, что я его не заметил.

На нем теперь был крестик.

– Что с тобой сегодня такое? – спросила она. – Ты как в тумане всю... службу был.

– Это не служба, – поправил я автоматически.

– Я знаю, – сказала она нетерпеливо. – Но ты знаешь, что я имею в виду. Тебя как мешком ударили. В чем дело?

– Давай на воздух выйдем, – сказал я. – Тут мне как-то...

– Нездоровится? – спроси мужчина в облачении, пристально смотря на меня. – Дышать трудно?

– Да, – согласился я, не встречаясь с ним взглядом. – Пожалуй, что нездоровится.

– Думаешь, в тебе сидят бесы? – спросила она с полусерьезным видом, когда мы вышли обратно в колоннаду.

– Шутишь, – сказал я.

– Но тебе там стало плохо.

– Я просто задумался.

Потом до меня дошло, что мы опять вдвоем, и я спросил:

– А где твоя подруга? Уже ушла?

– Да, ей надо было идти, – она быстро заправила волосы за ухо. – У нее работа.

– И у меня работа, – вздохнул я. – У меня только работа, и работа, и работа. В последнее время так особенно.

Она остановилась и положила обе руки мне на плечи – я держал его, и он оказался между нами.

Мы стояли на ступнях огромной лестницы, и я смотрел ей в глаза. Я так любил ее глаза. И никогда ей об этом не говорил.

– Я рада, что мы это сделали, – сказала она просто.

Я кивнул.

– А бесы сомневаюсь, что сидят, – сказал я. – Можешь не волноваться. Я просто задумался. Голова слегка закружилась.

– Но крест ты не носишь, – сказала она. – Я никогда на тебе его не видела.

– Нет. – сказал я.

Не ношу.

Часть пятая. Назад

57.

Скорая в наш дом снова приезжала. Это было тем вечером, незадолго после крещения, когда ей показалось, что посреди ночи он не дышит. Он дышал, но после того, как они уехали, она легла на пол и рыдала, трясаясь на жестком паркете, два часа подряд.

Она даже не могла поднять голову – я держал ее, обнимая за плечи.

– Все будет хорошо, все будет хорошо, – свободной рукой я гладил ее по волосам. – Все будет хорошо.

– Д-да, – сказала она наконец, стуча зубами. – Хорошо.

– Все будет хорошо, – повторил я. – Встаешь?

– Встаю.

Но она лежала, молча, уставившись в потолок, еще минут десять.

– Меня как будто выжали. Я ничего не хочу. Я ничего не могу. Хочу только, чтобы с ним все было хорошо.

– С ним все будет хорошо, – сказал я.

– И ты... уходишь, – прошептала она.
– Прости меня.
– Я знаю. Знаю, что тебе надо. Но все равно каждый раз я думаю, что ты... я представляю, что ты...
– Я знаю, – сказал я. И погладил ее по голове еще раз. – Я знаю. Но я вернусь. Я же всегда возвращаюсь.
– Обещаешь?
– Точно.

58.

Третий раз скорая приезжала к дородной даме, кажется, с четвертого этажа. Я редко видел ее, а когда видел, то обычно она шла через двор, ни на кого не смотря и переваливаясь, как утка. Одну из своих комнат она сдавала. В основном у нее жили студенты, по большей части девушки, но иногда и шустрые молодые люди, глядя на которых я думал, что уже давно разучился так быстро бегать вверх и вниз вверх по лестницам без крайней на то необходимости.

Последний год у нее жила студентка, которую я тоже иногда видел – ладная девушка, как будто облитая тканью платьев, которые она всегда носила. В самой тетке интересное было только одно – она коллекционировала вещи.

В самой по себе тетке не было ничего особенного – она носила клеенчатый коричневый плащ, высокая, ростом почти с меня. Голос у нее был низкий и громовой, так что когда она говорила с консьержкой, слышал весь двор.

– Ну что, дорогая? Привезли?
– Привезли, – покорно кивала консьержка.
– О! О! – бухала клеенчатая. Она всегда бухала или трубила, а не говорила, и почти всегда короткими фразами, а не целыми предложениями. У меня было чувство, что на полные предложения у нее не хватает дыхания.

Когда с тем, что из пятидесяти шестой, случилось то, что случилось, она как-то притихла. Как и многие другие жильцы, спряталась. Теперь ее бас в дворе не очень-то и доносился, а если и доносится, то, может быть, я в своей нагретой, как электрическая горелка, реальности совсем перестал его слышать.

А потом тетка подумала, что у нее что-то украли.
И с ней случился приступ. Поэтому скорая и приезжала.
– Есть надо было меньше, – сказала консьержка хмуро, когда я спросил ее, походя мимо со батоном и бутылкой сока.
– Ела она как не знаю кто.
Она теперь смотрела на меня не как раньше, а исподлобья, как на кого-то, с кем ты вынужден сотрудничать, но только потому, что другого выхода у тебя нет.
– Продукты коробками туда носили. Птицу. Шоколад. Ветчину. Масло. Вот и результат.
– И что, у нее правда что-то украли? – спросил я.
– Да я понятия не имею, – консьержка махнула рукой. – Ее так прихватило, что она слова не смогла сказать. Так и увезли. Только глазами хлопала.
Она резко передернула плечами, и покрепче запахла на груди шарф. Ее тряхнуло, как человека на сильном холоде.

– Она чем-то болела?

– Ничем она не болела. Эта, жиличка ее, говорит, что просто нервная была. Все недавнее... плохо на нее повлияло. Боялась, что обкрадут. В квартиру войдут.

– У нас же давно не было краж?

Краж действительно давно не было – последний раз мошенники залезли со стороны улицы, разбив стекло и переполюшав случайно весь этаж – нацеливались на золотые ложки и нитку жемчуга, которую носила на шее живущая там тогда старушка, а сами не успели даже сбежать до того, как до них добрался ее сын, ночевавший по случаю у нее дома.

– Краж не было, – подтвердила консьержка. – Но вы сами... знаете, оно теперь как.

– Так у нее же эта, девушка, живет?

– Живет, – отозвалась она. – Сейчас живет. Но, может, она и вторую комнату захотела сдать! И кто-нибудь и пришел, меня не застал, я ж не всегда тут бываю, сами знаете, а ее напугал! Таких припугнуть знаете как просто? Она за свои вещи как за золото держится. Сидит над ними все время. Никуда не выходит. Раньше на рынок ходила, теперь и на рынок не ходит.

Я покачал головой.

Как люди начинают держаться за вещи, я знал.

59.

Я иногда думаю об этом – потому что это моя специализация, а еще потому, что обычно люди держатся за вещи, когда им больше не за что держаться.

Что плохого, если выкладывать любимые предметы на стол: аккуратно придвигать друг к другу, ссыпать в горки, заворачивать в оберточную бумагу. Стол все ширится и ширится, она возвращается к нему раз, два, каждый день, несколько раз в день – поправить или просто посмотреть. А потом, несколько лет спустя, наступает час, когда она совсем перестает отрывать глаза от стола – куда бы она ни пошла, что бы ни делала, ее взгляд блуждает среди того, что еще в ее власти. Ее глаза неотрывно обшаривают, подсчитывают, скользят среди отблесков золота и обрывков фольги – и их ничего уже не оторвет ее от мысли о том, что ничего, никогда, ни за что не должно измениться.

Когда вещи становятся тобой – из пальца торчит носик дорогого кухонного чайничка, на ноге неловко болтается фарфоровая туфля, по ребрам ездит скалка, иголки звенят и стучаются друг об друга, путаясь в волосах – вещи становятся продолжением твоих движений, они встречают тебя там, где ты поднимаешь руку, дергаешь ногой, крутишься на месте. Вещи тормозят и висят на тебе, не дают сделать шаг, не дают про себя забыть.

Это забавно – когда люди уже не могут уйти от вещей, вещи начинают уходить от них сами. Внутрь – линять и терять краску, ломаться, чернеть дырами, и наружу – выпадать и пропадать, проситься в чужие руки, прятаться там, где владелец, бесясь, никак не может их найти. Я видел это много раз – когда они теряют вещь, то провал в том месте, где она должна была быть, чувствуется так остро, что они, мучаясь, сначала часами ищут, ищут, а потом, отчаявшись, хватают первый попавшийся предмет и водружают его в нишу, прикрывая им свой провал. Так же они делают и с другими дырами – там, где все затянуто молочным туманом, где ничего уже не просматривается, не прощупывается четко, они сухо скажут: «Не хочу говорить». И подожмут губы – красивая, короткая, эффектная заслонка.

Уйти от вещей кажется им немыслимым – попробуй только сказать, что они улетят в пропасть прямо под своим квадратиком ковра, что стелется перед письменным столом, вместе с их сахарницей, сколотой у одного края, с их зелеными шторами, через которые

пробивается солнечный свет – все исчезнет, все опустится, время погребет все это под собой, и все их мысли, только об этом, так и останутся летать в атмосфере, то поднимаясь повыше, к облакам, то летя совсем низко, над мостовой.

Они думают, что в конце можно лечь на этот стол прямо посреди поблекшего золота, и там все и кончится – если только касаться рукой чего-нибудь, что тебе дорого, то, когда тебя вытолкнут за дверь, из-под которой сияет желтый, невыносимый свет, вещи не останутся там, где были, а пойдут вместе с тобой.

Как они злят меня, как раздражают со своим желанием сохранить, обернуть, положить под стекло. Везде, куда ни помотришь, я вижу их побелевшие скрюченные пальцы, которыми они цепляются за прошлое.

Сам я никогда не был фанатом ручной клади. Фанатом брать с собой хоть что-нибудь. Когда-то, много лет назад уже, я ходил с рюкзаком – но рюкзаки, какими бы они не были, рано или поздно забиваются вещами, которые уже на следующей остановке оказываются не нужны. И если прикорнуть на минутку, положив его под голову, я проснусь от того, что в затылок мне уперлось что-то жесткое, вытащу затекшей рукой рюкзак и развяжу шнурок – там окажутся черепки, засохшая еда, промасленные свертки и обломки чего-то большого, что я зачем-то решил взять с собой, но совсем не буду помнить, зачем. Если делать так, как предлагают – таскать с собой воспоминания, реквизит для всего, что может со мной случиться, или – хуже – того, что нельзя никому доверить на хранение, то мой рюкзак должен быть размером с дом.

Я ни разу не жалел, что у меня чего-то нет. Нет с собой, я имею в виду. Всегда был только город – и только я, и я чувствовал, что если у меня нет самого первого, защитного слоя вещей, то город быстрее соскребал и другие слои, которые ко мне прилипали. Он лущит, и они остаются позади – слой усталости, слой печали, слой гнева, слой страха. Хотел бы я идти так долго, чтобы все слои того, что налетели и налипли на меня, остались лежать в кварталах, через которые я прошел. Хотел бы я, чтобы он раздел меня до того слоя, где не осталось страха. Не за меня самого – а за них.

– А у нее было что-то ценное? – спросил я как бы невзначай. – У той, у которой украли?

– Знала, что вы спросите! Хе, хе. – консьержка хрипло засмеялась. Ее снова пробрала дрожь, хотя было не так уж и холодно. – Что-то может и было. Украшения. Мебель. Старинное всякое. Она специально искала. Покупала. И муж у нее вроде старьевщик был. Или реставратор. Из этих.

– Понятно, – я кивнул. Потом, как бы машинально, кивнул еще раз.

– Но я сомневаюсь, что украли. – Она повернулась вполборота и было уже совсем собралась уходить. – Там нет ничего такого ценного. Разве что специально что-то искали.

– Что?

– А я почему знаю?

Я резко взглянул на нее.

Она смотрела на меня хитровато. С прищуром.

60.

Я шел по лестнице вверх.

Если она, то есть сама консьержка, оттуда что-то взяла, то найти это и тем более доказать, что это именно она, – почти невозможно. В случае жилички проще – если бы взяла

жиличка, то она должна была это куда-то спрятать. А чтобы прятать, в доме было не так уж много мест, и все их я знал очень хорошо. Были и такие, которые плохо просматривались, но уж если там и было что-то спрятано, сигнал бы сам шел мне в руки. А он не шел.

Надо было при случае обойти чердаки, решил я. И подвал.

Но почему она решила, что у нее что-то украли? И так испугалась – до приступа? Женщиной она была крепкой, насколько я мог судить. Кто-то зашел? Они? Но им-то ее барахло зачем – уж если захотят уложить на золотой стол, уложат голой.

Кому теперь нужны чужие деньги? Глупый вопрос. Всем. Когда все в панике, их взять чего проще. Но кому нужны чужие вещи, чужие громоздкие вещи, и куда они хотят их уволочь из музея имени ее, и таким образом отнять ее у нее по частям – по одной чашке и вазе – мне было непонятно.

61.

Первым я решил проверить чердак.

Меня в последнее время меня не щадили, и я мотался, как мячик, по всему городу – похудел так, что брюки на мне висели, щеки ввалились, и, кажется, даже начали выпадать волосы – во всяком случае, когда я проводил пятерней по голове, их там каждый раз становилось все меньше, и я был почти уверен, что мне это не кажется.

Чердак надо было проверить, но меня понесло туда вечером – солнце уже садилось, до темноты оставалось всего пятьдесят минут, а над городом стоял густой и мутный запах осени.

Пока шел, я дважды споткнулся на лестнице – один раз так, что чуть не полетел подбородком вперед, один раз врезался в ступеньку носом ботинка. Я знал, что мне надо именно туда, но я все медлил и медлил – и то, что я чуть не полетел с лестницы и чуть не встретился головой с металлическим тяжелыми перилами, выглядело как знак.

Дверь была в самом конце лестничного пролета, на самом верху – незапертая, только плотно захлопнутая и прихваченная гвоздем. Лампочка внутри не горела, и помещение было длинное и узкое, заваленное каким-то хламом, и запах затхлый. С одной стороны ряд окон, заложенных картонками, кастрюля с отбитой ручкой, белая, эмалированная, кажется, с остатками какой-то еды внутри, задвинутая в угол...

Я уловил движение за спиной раньше, чем я его увидел.

Меня схватили сзади, мощными, тяжелыми руками, и подняли от земли. Я знал, что в таких случаях следует делать, и увернулся, но не успел увернуться полностью – он, а это точно был мужчина, выше меня и явно больше, иначе бы ему не удалось поднять меня так, что ноги не просто волочились по грязному полу, а вообще его не касались.

– Сволочь...! – хрипела туша. – Сволочь, сволочь!

Я пнул его изо всех сил, попытался освободить руки – он сжимал меня с двух сторон и не давал оторвать их от корпуса – потом пнул еще. В легких ничего не было, в горле ничего не было, а воздух, мне нужен был воздух, но я все равно рванулся, втянул его носом – и пнул его еще раз, каблуком в пах.

– Уууу!

Я не мог разглядеть лица, да оно и было закрыто какой-то тряпкой – я был слишком занят тем, чтобы понять, нет ли у него пистолета или ножа, и он так и не дал мне до конца развернуться. Перед глазами у меня плыло, боль в ребрах, в левой ноге, в которой, кажется,

что-то хрустнуло, с левой стороны челюсти – и он был сильнее, и моя спина была все ближе к окну, холодный ветер по лопаткам, ближе, ближе...

До меня дошло, что он собирается сделать, за несколько секунд до.

Балкон был слева. Или справа? Кажется, слева.

– Мразь!!

Он перегнул меня спиной через перила меня так сильно, что верхней половиной тела я практически висел из окна. Картонка, которой окно было заткнуто – стекло не было – отлетела в сторону, и в ушах у меня засвистел ветер. Еще одно движение, и он подхватил бы мои ноги и выбросил бы меня вниз.

Но я был быстрее.

В этот один, решающий, момент я был быстрее. Я что есть силы оперся руками о подоконник и двумя ногами изо всех сил ударил его в грудь. Это было рискованно, очень рискованно – я мог потерять равновесие, мог не удержаться. Но я ударил так сильно, что он отлетел назад, и в тот момент, когда он, разъяренный, поднялся бы опять и бросился бы на меня, я перекинул ноги через перила и в буквальном смысле прыгнул – в сторону балкона. Я прыгнул, рассчитав, не рассчитав – так, чтобы только достать до балкона руками.

И я зацепился.

Я не занимался альпинизмом – вернее, давно не занимался, – но у меня было ощущение стены и ощущение опоры. Правда, обычно ты на веревке. Быстро и неловко, как мешок, я подтянулся, перевалился через перила и оказался с той стороны балкона, где ему над было бы высунуть всю голову из окна, чтобы меня увидеть.

Но... он не высунул голову. Вообще никто не высунул голову.

А потом, когда перед глазами у меня почти уже перестало плыть – из окна высунулась голова. Голова белобородого. В таком ракурсе он был похож на встревоженную курочку, с дрожащей шеей и белыми клоками волос.

Он беспокойно посмотрел сначала вниз, потом вверх, потом по сторонам. Вправо, влево, вправо, влево. Меня на балконе он не увидел – я вжался в стену так, что разглядеть было сложно.

Он покачал головой.

– Что за люди!

Голова исчезла.

– Как можно устраивать такой бардак! Да тут все разбросано! Что за...

Насколько я мог слышать, ему никто не ответил.

Но где тот, второй? Как у него получилось смыться так быстро? Он что, тоже из наших? Умеет быть там, где он вообще-то совсем не должен быть?

Судя по тактике, опыта у него не так много.

Я медленно разогнулся. Все тело болело, но, насколько я мог судить, он ничего мне не сломал. Надо посмотреть в зеркало, нет ли кровоподтеков, и позаботиться, чтобы она ничего не заметила. Колено саднило и хрустело, и разодраны обе ладони – но это ничего,

Может, там, на чердаке, хранится что-то, что я почти нашел, а мне не положено было найти? Может ли быть так, что ему было поручено выкинуть меня из окна не потому, что он меня ненавидит, а потому, что я слишком близко подобрался к тому, что там было, а каждого, кто подбирается так близко, полагалось уничтожить? Но почему в нашем доме? И почему мразь? То, что произошло с пятьдесят шестым, было его собственным решением, что бы консьержка ни говорила.

Я же был там. Я все видел.

И что там делал белобородый? Когда он успел взбежать вверх по лестнице и почему он, а не, например, жилец квартиры напротив услышал шум? Что ему там было нужно, и зачем его тоже понесло на чердак?

Плюс – я не слышал никаких шагов, пока мы боролись, хотя мне было так больно и в ушах у меня так звенело, что я не слышал бы и колокольного звона, наверное. Так что он вполне мог взобраться туда и вбежать, когда я перемахнул через подоконник, а тот, второй. Что с ним произошло? Куда он делся? Обратился в кучу щебня на полу?

Я усмехнулся, потирая кулаком челюсть.

62.

Никто, насколько я мог судить, не видел и не слышал драки – напротив чердака была одна квартира, но ее жильцы не показались ни до, ни после нашей схватки.

Я открыл балконную дверь и прошел в квартиру этажом ниже – там никого не было, но даже если бы и был, это не было бы особенной проблемой. Я старался не двигать ничего из вещей – я не знал, кто там живет, но ничего примечательного, кроме плоского телевизора, стопки книг перед ним и дивана, уже основательного потертого и с пятном чего-то белесого сбоку, там не было. В шкафу мужские вещи. Серебряные запонки на столе – тяжелые и массивные, в виде самолетиков.

Я заглянул на кухню. Гора грязной посуды в раковине, приоткрытое окно. Зато безукоризненно начищенные ботинки под зеркалом. Интересно.

Я притворил за собой дверь.

На лестнице никого не было, и, когда я вернулся на нашу лестничную площадку, там тоже было пусто. Казалось, что весь дом молчал – не стучали двери, не доносились голоса, даже собаку, которая выла н площадке выше нашей, не было слышно. Там постоянно выла собака – причем не от одиночества, а со своей собственной целью. Иногда мы слышали, как ее окрикивает сердитый голос, и она сразу перестает, и вой сменяется дробным, залившимся повизгиванием, которое взлетает все выше и выше, пока, наконец, не замирает. Ну что ты плачешь, думал я, слушая ее и поднимая взгляд к потолку.

Собак в доме было несколько, но такой диалог, балладу по повышенным тонам вела только эта. Почему именно ей надо проверять мир на прочность, а. Остальных вполне устраивает их миска и покусанный теннисный мячик, а эта все зовет кого-то, не заботясь о том, кто ее услышит. Даже ночью, бывает, она не успокаивается – выйдет на балкон, запрокинет свою пушистую голову вверх и смотрит на звезды.

С нашего балкона я ее пару раз видел – морда у нее была большая, и просунута между прутьями балкона, а глаза грустные. Гуляет ли с ней хозяин, что он делает и откуда она ему досталась, я понятия не имел. Странно было только то, что я его никогда не видел, хотя слышал, точно слышал, как он поднимается по лестнице, и ходит там, наверху, в квартире над нами. Как собака резко унимается, когда в замке поворачивается ключ, и поскуливает, когда он, наверное, проводит пятерней ей по морде и говорит что-нибудь типа: – Ну, не прыгай! Не прыгай!

Когда она всем своим сорокакилограммовым весом пытается поставить лапы ему на плечи, и от радости напрыгнуть на него и прижать к входной двери.

Некоторые люди обладают такой способностью – быть и одновременно проворно сливаться с фоном, появляться на периферии зрения и сразу же исчезать. Наш сосед сверху, собаковладелец, был чем-то вроде этого – может быть, той же профессии, что и я, но

выяснять это прямым способом мне не хотелось. Хотя теперь, после того что произошло на чердаке, выяснить было бы хорошо.

Дом молчал, как собеседник, которого ты обидел. Ничем не пахло из-за дверей – ни капустой, ни супом, ни пирогами с мясом. Не доносилось звяканье и грохот, ни бормотание телевизора. По-хорошему, стоило проверить и подвал. Я не думал, что он нападет второй раз, хотя в подвале такая возможность вполне себе была, но я решил пока не идти туда. Уже поздно, я устал, оба ладони ободраны – я мог бы сполоснуть их в раковине того, с самолетиками, но не хотел открывать там воду.

В подвале, как и на чердаке, почти наверняка что-то было – с чердака они теперь, правда, это уберут, после того как я там побывал. А вот насчет того, что в подвале, я не уверен. Ощущение было такое, что это два разных человека, две разных истории. Что-то, что в подвале, прятали не они. Это более личное. А вот того, что на чердаке, больше там не будет.

В конце концов я решил повременить. Решил в самый последний момент, уже заходя в квартиру.

Она стояла спиной к двери.

– Как работа?

– Хорошо. Как всегда. Как дом?

– Хорошо. Как всегда.

Она подошла и поцеловала меня, опершись двумя руками мне на грудь. Мои ободранные ладони, конечно, от нее не укрылись.

– Расскажешь мне что-нибудь?

– Нет, – я покачал головой. – Не расскажу. И не проси.

Она чуть отдалилась, чтобы посмотреть мне в лицо. Потом наклонилась, приблизив свое лицо к моему, и поцеловала снова.

Я закрыл глаза.

– Ладно. – Ее голос звучал откуда-то издалека. – Ладно.

Мне показалось, что на площадке выше нашей в замке повернулся ключ.

Собака молчала.

У меня иногда бывает это ощущение – что у меня за спиной у меня стоит что-то большое. Оно еще в тени, переступает огромными лапами, потягивается, горячим дыханием обдает мне шею. А я стою, не оборачиваясь, и жду, пока оно придет – или пройдет, исчезнет, так и не став реальностью.

63.

– Вам не кажется, что что-то странное творится?

Я открыл глаза. Оказалось, что я спал в лифте – вернее, стоял, и крепко, на своих двоих, но с закрытыми глазами, а хлыщ в узком черном костюме, который ехал рядом, живо повернулся и теперь смотрел на меня – блестящие темные глаза на деловитом и нервном лице.

Я видел его и до этого – он деловито протягивал мне руку, а я так же деловито ее пожимал всякий раз, когда мы встречались.

– Я очень рад, очень рад, – сказал он, когда мы познакомились. – Сразу видно, что вы человек приличный.

– Приличный? – переспросил я.

– Очень приличный, – подтвердил он, ничуть не смутившись. – Не то что все эти старухи. Между нами говоря, половина из них полоумные. Но что делать! В старых домах их всегда полно!

Я вежливо улыбнулся.

С тех пор мы встречались только в лифте.

А теперь он наклонился ко мне с тревожным видом. Причем тревожность все равно скрывалась под слоем уверенности, как под кремом скрывается подгорелый, но только с одной стороны, торт.

Я быстро окинул его взглядом. Хорошо скроенный костюм, черный, с блеском и из дорогой ткани. Начищенные ботинки. Ни куртки, ни пальто. В руках тоже ничего. Либо он так и ходит по улицам, и капли падают ему на лацканы, либо у него есть машина. Лицо... какое обычно бывает лицо у таких типов. Ухоженное и ничего не означающее – тонкие брови, тонкие губы, слабый подбородок и глаза, так и впившиеся в меня. Его оживленность казалась напускной, но что там под ней? Страх?

– Мы с невестой думаем уехать.

– Из города? – уточнил я.

– Из дома, из дома, – заторопился он. – Переехать. В другое место.

– Думаете, дело в доме? – спросил я серьезно.

Он покачался – с пяток на носки – и обратно. Думает, насколько много можно мне сказать.

– Не прям-таки только в доме. – сказал он наконец. Сами знаете, какая сейчас... ситуация. Столько неприятных событий... происходит.

Это точно. С неприятными событиями у нас напряженка. Что-то падает и жжет здания в самый неподходящий для этого момент, куда там про неприятные события. Людей то и дело сдергивают с улиц, как куртку с крючка – быстро, порвав и даже не подумав.

– Но этот дом! Дом! – подхватил он наконец. – Я потому с вами и заговорил, что! Что мне кажется, что вы тоже... понимаете! Тут происходит что-то странное!

– Что?

– Ну! – он наклонился ко мне поближе, и пахло одеколоном, таким крепким, что мне почти стало дурно. – То кто-то... сбросится, то кто-то... спятит. То ребенок орет, то собака воет эта. Вы тоже слышите, как она воет? – спросил он, как будто с сомнением.

– А вы что, думаете, вам привиделось?

Он отшатнулся от меня.

– Ничего мне не привиделось, – пробормотал он сердито. – У меня мозги на месте. Воет она.

– Воет, – подтвердил я. Хотел кивнуть, но его противный аромат все еще был у меня в носу, и я не стал. – Мы ее тоже слышим. Вы хозяина не видели? – спросил я как бы между прочим.

– Нет, – он помотал головой. – Как поднимается слышу, а самого не видел. Мужчина вроде? Крупный?

– Да?

Он пожал плечами.

– Здесь что-то не то. Точно вам скажу, вот вы умный человек, вам я могу сказать – тут что-то не то!

– Да что не то-то?

– Может то, что он... круглый. В смысле дом. И что двор... колодцем. И с тех пор как тот, ну... что-то начало такое твориться, что всех как будто это... связывает. Как будто это не просто так было. Как будто кто-то... ну, следующий.

– Следующий в каком смысле?

– Надо убираться отсюда, – сказал он. – Надо убираться. Думаю, мы скоро уедем.

– Удачи, – сказал я вежливо.

Двери лифта открылись. На секунду мне показалось, что прямо перед тем, как они открылись, на площадке кто-то был, но когда двери разъехались, там не было никого. Я выбрался – не спеша, шурша своими пакетами, а он поехал дальше.

– Странно все это, – раздалось из лифта. – Странно, странно. Странно.

Надо было извиниться по поводу ребенка, подумал я, суя ключ в замочную скважину. Правда, сейчас он уже перестал орать и спит, крепко сжав кулачок, как будто чтобы защищаться от волчка, который вылезет из-под кровати и съест его сон.

64.

Насчет жилички той, клеенчатой, которая еще не вернулась из больницы, у меня тоже были мысли.

– Мужиков водит. – неодобрительно сказала соседка с первого, и громко повела носом. – Пока этой ее, хозяйки, нет, та мужиков водит!

– Кто? – спросил я, хотя мне было, в общем-то, все равно. Все равно мне было, а я все равно спросил – зачем я так делаю, а?

– Да та! – на махнула рукой в сторону квартиры, откуда увезли большую и громогласную хозяйку. – Жиличка ее! Девка-то по мужикам горазда!

В ее голосе было ожесточение, которого я раньше не замечал.

– И вас это... раздражает?

– Да как не раздражать, когда ходят тут мужики какие-то! В подвал вон забрались, по двору ночами ходят! Хихикает с ними до трех часов ночи! Какая, а! Люди спят, а она!

В подвал – вот это было уже интересно.

– Ну она... молодая девушка, – осторожно сказал я. – Может быть, когда... эээ.. Хозяйка дома, нет возможности... Эээ... Встречаться.

– Как же! Конечно нет! Она-то к себе никаких мужиков не пускала!

Правду сказать, я знал, о чем она говорит. Я видел ее – жиличку, а не хозяйку – один раз.

65.

Город тут и там бросает мне веревки чужих разговоров. Иногда я хватаюсь за какую-нибудь – веселая компания на углу кафе – высокий парень оперся о столб в желтом свете фонаря; красотка, что выходит из такси, запахивает полы пальто, перебирает ногами в дорогих туфлях, и сразу же, даже не окинув улицу взглядом, исчезает внутри здания. Двое мужчин на скамейке на набережной, один постарше, другой помладше. Бывают такие разговоры, когда один как будто забрасывает крючки, чтобы зацепиться за кольцо и пришвартоваться наконец, а второй молчит, и крючки со звоном отлетают от камня. Первая попытка, вторая, третья – крючки плюхаются в воду. Есть даже те, кто привыкли говорить только так – тот мужчина, что скамейке слева, еле шевелит губами, как будто ответы томятся изнутри его губ, но наружу не вылетают. А молодой все говорит, говорит, так, что

дыхание сбивается, а потом, с минуту помедлив и не получив ответа, замолкает, потупившись, и смотрит на воду.

Я не стал слушать, что говорит тот, молодой. К тому же я и так уже догадывался, о чем. А вот ее – жиличку, девушку, которая снимала у трубадурши комнаты – я действительно видел.

Я заметил ее на террасе, когда проходил мимо – она сидела там, в белом платье, которое еле-еле прикрывало колени, и смеялась. Рядом с ней, конечно, кто-то был, но я заметил только ее – она была выставлена там, как коробочка, вроде тех белых картонок, в которые упаковывают пирожные с кремом.

Платье, конечно, было маскировкой, просто восклицательным знаком, способом поманить за собой – а вот она сама, ее лицо, не затушеванное, как обычно бывает, а голое, сосредоточенное иногда сверх меры, когда она забывала растягивать рот в улыбке и всматривалась в небо над собой, нахмурившись тому, что он ей говорил – меня заинтересовало. Мне показалось, что она смотрит так, как будто тоже задается вопросами. Что она здесь не потому, чтобы посмотреть, что город предложит ей сегодня. Не за этим – а за тем, чтобы поставить свой собственный эксперимент.

Небо все синело и синело, искусственные розы, прикрепленные к скату крыши, под ночными фонарями стали казаться настоящими. Я сидел и наблюдал за ними, пока они покончили со своими коктейлями в огромных пузатых стаканах, поднялись и пошли вдаль по улице. Мостовая блестела, и на улицах почти никого не было, кроме редких попрошайек, которые уже кутались в одеяла, готовясь ко сну, мрачно потягивались и оглядывались по сторонам, но, завидя их, еще выкрикали: «Добрый вечер вам! Добрый вечер!» Он шел рядом с ней, и даже со спины было видно, что это она ведет его, а не наоборот. Когда они пересекали людные перекрестки, она оборачивалась к нему, замедляя шаг, и спрашивала что-то – я был уверен, что она спрашивает, не хочет ли он присоединиться к этим людям, оставить ее, выбрать другое направление. Бабочка улетает и ждет, что ты проводишь ее взглядом – но не ждет, что ты будешь переходить с ней с одного цветка на другой, с куста на куст, наблюдая с близкого расстояния, как дрожит ее маленькое крыло.

Со спины они казались мне почти незнакомыми друг другу, если не считать того, что они шли в рядом, в унисон – примерно одной длины шаг, так, что он не уходил неудобно вперед, а она не оставалась неудобно позади. Он качал головой, и я понял, что они разговаривают – уходя все глубже и глубже от тех блестящих витрин, где я увидел их в первый раз, пересекая один пустой квартал за другим. Чем дальше они шли, тем спокойнее она становилась – как будто тот момент, когда ее спутник мог, извинившись, ускользнуть в темноту, прошел. Странно – но я подумал, что знаю, в чем заключается ее эксперимент. Дни, когда она идет одна, быстро и деловито, не сверкая платьем и умело лавируя в толпе – серым. Дни, когда кто-то рядом с ней, и смотрит на нее, и видит – красным. Красные мазки в календаре, растереть их получше, создать иллюзию того, что в этом городе она не одна.

Они все шли, теперь быстрее – я видел, как они миновали сразу несколько пятчков света у еще открытых ночных ларьков, свернули, как она, стесняясь, провела его между двух домов, стоявших так близко друг к другу, как будто их стены хотели наконец обняться. Остановились они в маленьком, безлюдном дворе – несколько велосипедов, поблескивающих спицами в темноте, мусорные баки в углу и белая шторка маячит в темноте за решеткой окна.

Теперь они стояли рядом, но не так близко, чтобы касаться друг друга – он оперся спиной о решетку и, склонив голову набок, слушал ее. Она стояла, то чуть придвигая свою

руку к его, то, наоборот, отодвигая, – если не приглядываться, то в фонарном свете мне казалось, что на их запястья надета эластичная резинка, что-то невидимое, что не позволяет ей мягко отвести руку, улыбнуться и войти вовнутрь, а ему – одним движением поднять рюкзак с земли, закинуть его на плечо и прыгучим шагом выйти со двора.

Они просто стояли рядом, две фигуры внутри высокого стакана, на самом доньшке – а я смотрел на них и думал, чем же так примечателен этот вечер. Сколько людей в этом городе ищут то небольшое, что висит, распыленное в малой концентрации, на дне этого двора – и сколько нашли его и потом потеряли, и я вижу, как они потеряли, как кричат друг на друга, как плачут, как отодвигаются как можно дальше на другой край кровати.

Она могла бы подойти к нему очень близко, он мог бы взять ее за руку, и их пальцы бы чуть коснулись друг друга. Они могли бы вместе подняться на лифте, хихикая под ярким светом и считая этажи. Ночь могла бы литься через открытые окна, душная, безветренная ночь, с гулом самолетов в небе, розовой подпалинкой, дыханием, которое прерывается на полувздохе. Нежным и чуть потертым велюром на краю дивана – ночь могла бы накрыть их прямо там, в этом отрезке малоизученного, когда хочется только допить свой стакан, рывком запрокинуть голову и солеными губами выпить то, что осталось.

Я шел прочь и думал о том, что все происходит слишком быстро. Она смеялась так, как будто знала, зачем она так торопится – чтобы добавить в напиток огня, поднести зажигалку и смотреть, как он горит. Игла того, как можно воспламенить их, заставить прекратить думать – сколько я видел женщин, которые подсаживались на это чувство, женщин, сведенных до открытых намазанных красным ртов, грудей, сжатых слишком короткой юбкой ляжек. Когда я спускаюсь вниз, то прохожу мимо них как между связок дров. Что заставляет их спешить, выкладывать свои богатства на прилавок, пока я не прошел мимо?

Это мощная педаль, хочу сказать ей я – не нажимай на нее раньше, чем следует. Их так много – опьяненных тем, какое оружие оказалось у них в руках, настолько, что они перестают думать о чем-либо другом, кроме как полировать его и любовно проводить по лезвию пальчиком. Другие инструменты тупятся и сыреют, и приходят в негодность, а они ловят и ловят этим лассо, пускают его в ход, зная, что если он и колеблется, заложив руки в карманы и смотря вопросительно, как будто готовясь уйти – когда вперед выбрасывается веревочное кольцо, устоять он не сможет.

Не приторговывай этим, хочу я ей сказать. Не спеши. Не пользуй, как инструмент, чтобы достать с дальней полки то, что ты хочешь. Это забавно иногда, дразнить и красоваться, но одиночество, хочу сказать ей я, одиночество всегда будет с тобой. Тебе не удастся от него убежать, не удастся уйти. Кто-то будет с тобой рядом, но смотреть на мир ты все равно будешь так, как смотрела сегодня в кафе – растерянно и одновременно сосредоточенно, как будто ты одна и тебе надо найти в этом мире что-то такое, что объяснит тебе, почему.

Кажется, что надо любить свой пункт назначения, или тот, откуда ты вышел – но возвращаешься всегда к тому, чтобы любить саму дорогу. Я давно это понял – и теперь все время отталкиваю эту мысль, пока она, надоедливая, как собака, суется под локоть и тянется холодным носом к моему лицу.

– Не вижу ничего плохого. – сказал я соседке с первого, которая продолжала вопросительно и несколько подобострастно смотреть на меня. – Возможно, это ее молодой человек.

– Молодой человек! – фыркнула она. – Видели бы вы этого молодого человека!

Я не стал говорить, что видел.

Хлыщ в костюме вышел из подъезда, пока мы разговаривали, и, демонстративно размахивая зонтом, с мстительным видом направился к выходу со двора. Шагал он широко, слишком широко даже для своего роста – он был чуть ниже меня – и один раз чуть не споткнулся на каменной кладке. Как раз в том месте, где... где.

Соседка с первого покосилась в его сторону.

– Я с ним даже не разговариваю, – заметила она. – Не пытаюсь. С такими разговаривать – только слова тратить.

– Да?

– У них у всех мозги набекрень, у этих новых. Уж не знаю, чем им забили голову, но мозги у них у всех как вата. С трудом три фразы могут вместе связать!

– А он из новых?

– Да как же, из новых. Месяцев шесть назад они заехали. С девушкой еще, симпатичной такой, но худющей. Говорит, что это его невеста.

– Говорит?

– Ну, на ней не написано, – сварливо отозвалась соседка. – Но лицо у нее такое, как будто она только что лимон съела. Если она и невеста, непохоже, чтобы была очень рада!

– Ага.

– Проверял мои посылки, можете себе представить! Обвинил меня, что я ворую его почту! Вата в голове, я вам говорю! Картон!

– Он вас обвинил? В том, что вы почту воруете?

– И посылки. Говорил, ой вы, да вы, забрали мою посылку, я вас с ней видел, вы с почтальоном разговаривали! А я ничего не забирала, я чужое не беру! Я свою забирала, и то тогда...

Она запнулась и погрызла ноготь, задумавшись.

– Может, он что запрещенное получает? – спросила она вдруг. – Вы как думаете?

– Поэтому и волнуется? – уточнил я.

– Ага, – она кивнула мрачно. – Боится, как кто-нибудь его бы не поймал. А то он так меня обвинил, как будто я мать его обворовала! Честное слово! Орал на весь двор!

– А я не слышал.

– Не слышали, потому что вас тут не было!

Она покачала головой.

– То мужики, то скорая, то младенцы. Все орут. Как орать начинают, не остановишь.

Я ничего не ответил.

– Не нашли той, дамы-то? Вещи? – спросила она внезапно.

– Я не знаю.

– Вроде давно уже... и не вернулась она. Пока что. Мы помолчали.

Я раньше думал, что не способен любить без условий. Эта мысль прокатилась у меня внутри, как летит конькобежец, удерживая весь свой вес на тонком лезвии, как катится по морю парус, хлопая, как крыло.

Она верила в меня – она бы со мной поспорила.

– Конечно, способен, – сказала она. – Смотри.

И показала бы на кулачок, просунутый через прутья кровати.

Это правда, что я не думал о нем как о любви без условий. Когда он появился, то сразу вправился мне прямо внутрь, в свое собственное место, где я теперь всегда его ношу. Не географический пункт, не метка на коже и не внутренний орган – если вырезать, я истеку кровью – а просто часть меня, которую нельзя отнять. Я не думал о том, можно ли любить то, что является частью тебя – мне не приходило в голову, скажем, любить легкие, или косточку на стопе, или линию на затылке, которую щекочет машинка для стрижки волос. Мне не приходила мысль о том, любить его или нет.

Когда он спит, я иногда присаживаюсь рядом на корточки и шепчу ему о том, как как прекрасен мир. Я шепчу о том, что жить стоит просто потому, что он лежит и сопит рядом. Я даже знаю, что временами, ночью, он просыпается, открывает глаза и секунду задумчиво смотрит над собой в потолок, прежде чем закричать.

67.

Когда я сказал, что собираюсь в подвал, она нахмурилась.

– Зачем?

– Надо проверить кое-что.

Я боковым зрением видел, как она прикусывает губу. Она всегда так делала, когда волновалась, и думала, что я не замечаю.

– Хочешь, я пойду с тобой?

– И зачем? И потом, мы его в квартире одного оставим, что ли?

– Я его на руках понесу. – Она улыбнулась. – А то мы мало гуляем.

– Это правда, – я нагнулся и, пытаясь, зашнуровывал ботинки, поэтому на нее не смотрел. – Мы в основном спим.

– Мы почти вообще... не выходим, – сказала она. – Я уже и не помню, когда в последний раз соседей видела!

– С тем, что сейчас происходит, лучше не гулять, – я разогнулся и снял куртку с крючка. – Лучше открывать окно и просто дышать воздухом. Поверь мне.

– Да я верю, – она грустно вздохнула. – Думаешь, когда это все закончится?

– Не знаю, – сказал я честно. – Сейчас вроде... поутихло.

– Да. Пару недель уже не было. По этому поводу перерыв.

Перерыв. Хорошо, если бы это был перерыв.

Я спустился по лестнице, пересек пустой двор и быстро спустился по ступенькам – дверь в подвал была в самом углу, деревянная, старая, рассохшаяся, да еще и закрыта на гвоздик. Даже удивительно, что это место еще не облюбовали бездомные и жители тех темных, выметенных кварталов, которых иногда заносит в эту часть города. Но их бы быстро вытурили – половина жильцов лично мутузили бы их до тех пор, пока они не убрались бы восвояси.

Я был в подвале всего несколько раз – когда мы смотрели квартиру, и с консьержкой, уже не помню почему. Внутри он был похож на заброшенный цех, то ли промышленный, то ли швейный. Было тихо, прохладно, просторно и пахло землей. Железные стеллажи по бокам – на полки уложено барахло, где-то аккуратно подписанное, где-то вообще ничейное. Никаких индивидуальных отсеков и каморок, никаких ниш, куда каждый жилец мог бы засунуть свои вещи. Под длинным низким потолком болтались три лампочки. Казалось, они и углы освещали, и не оставалось никаких теней.

Я закрыл глаза и прислушался. Не к внешнему – внутри.

Металл точно есть, хотя бы даже стеллажи, но мне нужен был не просто металл, не столько металл, а что-то фоновое, чужое. Что-то с тонким фоном, таким писком, который почти незаметно дает о себе знать. Несмотря на пустоту, чистоту и красоту, писк был. Фоново, тоненькое, серебряное с жемчужиной скорее всего, и ближе к глубине, к левой стороне. Я двинулся вдоль стеллажей. В подвале кроме меня никого не было – в этом я был уверен, но воздух все равно был спертый и душный.

Я почти дошел, и вдруг почувствовал, что задыхаюсь. Мне перестало хватать воздуха – я хватал его ртом, вбирал, но он как будто бы наполнял только верхнюю часть груди, а ниже не проходил, а потом воздуха стало совсем мало, и у меня потемнело в глазах. Я остановился, держась о стену. Дышать. Коротко и отрывисто, открытым ртом – глаза у меня были почти наверняка выпучены, на лбу испарина, но меня это мало волновало. У меня вдруг возникло ощущение, что за мной кто-то стоит, и я с трудом, и с хрустом в плече и шее, повернул голову. Никого не было. Только лампочки теперь было две. Одна перестала работать.

Лучше мне не становилось, но хуже тоже не становилось – поэтому дойти все-таки можно было попробовать. Я дошел до эмалированного таз, который был задвинут на почти самую верхнюю полку. В таз были навалены пакеты с вещами, а рядом стояли рядами пластмассовые коробки, покрытые крышками. Мне нужен был таз. Оно жило где-то рядом с дном, с той стороны, что ближе к стене.

С трудом я поднял обе руки, схватился за эмалированный край и потянул. Он оказался куда тяжелее, чем я думал, да еще и угол неудобный – выше уровня глаз, и тяжело было так, как будто в таз этот налили раскаленный металл, и потом дали ему застыть. Но если бы это правда был металл, или, скажем, цемент, то полка бы не выдержала.

Я с трудом подтянул таз к краю. Тут, возможно, можно было найти табуретку, но становиться на узкое сиденье – слишком большой риск того, что я упаду спиной назад, или перед глазами у меня окончательно потемнеет. Пока темнело вроде не очень – темнота и вспышки, которые было начали подкрадываться с двух сторон, отступили, и перед глазами теперь только бегали искры. У меня крайне редко такое было. Только когда я начинал работать. Я уже было думал, что такого не будет больше никогда.

С трудом повернув таз по часовой стрелке, я засунул под пакеты руку и начал шарить. Долго шарить не понадобилось. Тканевый мешочек с чем-то твердым внутри, и больше, чем я думал. Глупо было прятать его здесь – можно было зарыть куда-нибудь, чтобы сложнее было искать. Так я мог указать только примерное место, но, скорее всего, не определил бы, где конкретно надо копать. В пределах десяти квадратных метров? Двадцати? Земля не сохраняет следы. Особенно городская. Особенно после дождей. Тут регулярно идут дожди, и кое-что похуже дождей тоже, и ее часто перекапывают – так что за всеми этими манипуляциями сложно распознать планы конкретных людей.

А тут было легко. Я вытащил мешочек.

68.

Все легко. Украшения, конечно. Штук... восемь, хотя считал я наскоро – мне все еще было плохо, и я старался не слишком опускать голову вниз. Хотелось задрать ее повыше, к оставшимся лампочкам, чтобы в ней перестало гудеть.

Крупный серебряный браслет, кольца, кольца с камнями, одно даже с ящерицей, очень похожей на настоящую, в которую был аккуратно вписан камень – большая жемчужина. Колье, тяжелое и, похоже, разбирающееся на несколько частей. Еще один браслет, похож на бриллиантовый, со сломанной застежкой. В таком освещении трудно разобрать, но очень похож.

Зря она их взяла – я почти уверен был, что это «она», а не «он». Только какая «она», я был не уверен. Металл сверкал и горел у меня в пальцах, и я мимоходом подумал, как он не жжет мне руку. Прикасаться не стоило, конечно, но перчаток я не взял, а посмотреть, что внутри мешочка, мне было нужно.

Их перехватят до того, как она успеет их забрать и перепродать, или забрать с собой куда-нибудь, где будет шанс их продать. Продать такие заметные вещи в городе даже в текущем положении довольно сложно. Так, чтобы тебя при этом не отследили, вообще невозможно. Мне ли не знать.

Я посмотрел на них еще. Куда более красивые, утонченные, чем по той, громогласной, можно было предположить. Со всеми ее чашками с золотой каемочкой, золочеными кувшинами для молока и шкафами, полными посуды и красивых предметов. А это... другого порядка.

Я подумал, что можно сделать. Вернуть их настоящей хозяйке пока не представлялось возможным, и потом, если их вернуть, даже незаметно, почти наверняка за этим последует большое число объяснений, которые я не готов давать. Переложить в другое место? Забрать с собой? Спрятать у нас? Нет. Спрятать у нас что-либо – очень плохая идея. Он и она должна остаться в стороне от всего этого.

Можно сделать ставку на то, кто это сделал, и дать ей знать, что я знаю. Прислать записку или что-то в этом роде. Но вопрос – какая? Соседка с первого? Невеста хлыща из лифта, которую я точно видел, но черты все никак не мог вспомнить? Консьержка? Много кто это мог быть, и мотивы были у каждой свои.

В конце концов я сложил все украшения обратно в мешочек и засунул его на прежнее место. Все, кроме кольца с ящерицей, которое положил в карман. Я не закрывал рот, и вдыхал часто и неглубоко – так было проще, хотя менее мутно внутри не становилось. Подыскать другое место, где бы спрятать мешочек, было сложно, да еще и такое, чтобы не нашли. Я мог бы положить его в водосточную трубу, мог бы спрятать на крыше, если рискнуть залезть на чердак еще раз. Но там могли найти, а носить его с собой мне не хотелось.

Когда я вышел, притворив за собой дверь, мне резко стало легче. Воздуха в легких стало больше. Голова все еще болела, и я прислонился к стене и на секунду закрыл глаза. Как будто рука протягивается из пустоты и сжимает мое горло. Не как та, которая тянется к горлу красавицы – на ключицах блестит серебряное кольцо, а браслет со сломанной застежкой падает на пол. Плавающий металл. Блестящий глаз ящерицы, смотрящий на меня из темноты.

– Нашел что-то? – спросила она, когда я вернулся.

– Где? – я все еще думал о ящерице с блестящим глазом, пока мыл руки под краном.

– В подвале.

– А, – я выключил воду. – Да.

– И что? Что нашел?

– Я тебе потом расскажу. – сказал я, и потянулся потрогать ее щеку пальцами.

69.

Той ночью мы заснули поздно – нежность, тяжелая, накатила на нас сразу обоих и накрыла толстым одеялом, с рисунком из полумесяцев и звезд. Она смеялась и локтем заехала мне под ребра, и я тоже засмеялся, и одеяло съехало.

Сны были как пленка – крутились быстро, но я все равно их помню. Мне снилась красная сожженная кожа, того затхлого, заглушенного красного цвета, какой бывает у засохшей крови. Мне снилась, как она обугливается и чернеет, и на ней больше не блестят капли пота. Как живое становится неживым. Как я переходил улицу, и вдруг раздался хлопок, а потом вспышка белого цвета, но я ушел, я уже ушел, и боялся посмотреть за плечо, не лежит ли там, у мусорного бака на углу, из которого поднимался вверх белый дым, мое тело.

Мне снился шум моря, но моря не было, оно только напрасно шумело в моих ушах – добраться бы до моря, думаю я, и не понимаю, кто это думает, ведь я сплю. Снились вены, вздутые и выпирающие, и одновременно странно притягательные, и по ним хочется провести пальцем, вдавить, вправить их обратно, как вывихнутую кость. Я слышал звуки, как будто что-то падает, стучается о землю – не опускается, не с кряхтением садится, не приседает на корточки, не прыгает животом вперед, чтобы распластаться в укрытии – а именно падает, валится и оседает. Неизящно, неловко – но я все же был рядом и слышал этот звук, но других я не слышал, как будто уши мне закрывает вата.

Мне снилась грязь – на руках, на лицах, на толстой ткани, что вечно морщится на колене. Снились пустые черные поля, целые поля остывшей холодной грязи, где когда-то поворачивались к солнцу толстые блюда подсолнухов. Мне снилось, как надвое сломалось здание с ажурными решетками балконов, как летит вниз голова черной стеклянной башни – а фонарь нагнулся еще ближе над улицей, как будто стараясь рассмотреть, что там происходит.

Внутри меня, как струйка мелкого песка, прямо во сне скребло чувство незавершенного. Как будто город показывал мне какой-то новый маршрут, говорил – смотри, вот здесь, в узком проходе между домами, в садике, где валяются на траве мокрые стулья и лейки, в углу здания, где стыдливо спускается по стене труба, для отвода глаз выкрашенная в кремовый цвет. Смотри, тебе надо только наклониться – и ты сразу увидишь, что все, что ты когда-либо видел, ты видел здесь. Даже если тебе кажется, что воспоминания твои накоплены где-то далеко от города – на самом деле все они отсюда. Это просто игра, в которую город играет с тобой. Ты никуда и не уходил, говорит он мне. Ты просто хотел уйти.

Это правда – я хотел уйти.

Часть шестая. Вперед

70.

По улицам города плывет серый густой дым. Город обнимает своими влажными пальцами холод, трогает, прижимается к стенам, оставляя отпечатки. Последнее время я

хожу в толпе, прямо посреди этой гущи, но она не прилипает ко мне. Люди не становятся ближе даже тогда, когда я стою к ним вплотную, касаясь их толстого пальто вместо того, чтобы схватиться за засаленный поручень, или почти заложив руку им в карман.

Город не изменился – изменился я. Мысль о том, что я изменился, мне неприятна. Она связана с тем, что от меня отсеклось то, что было частями прошлого меня. Отрезанный кусок сала уже упал на пол – упал и пропал. Я смотрю на него, как на что-то постороннее.

Что мне делать с отвращением к тому, что все увядает и тускнеет, и мой мир когда-нибудь насчет тускнеть, и меня тоже резко развернет внутрь, к боли – и я вынужден буду смотреть в собственные больные глаза. И хуже того, он тоже будет в них смотреть. Что мне делать с тем, что ель все растет и растет вверх, дальше всех остальных елей, и дотягивается до неба, и оказывается, что это не небо совсем, это бумажный листок, и его можно прорвать посередине и высунуть макушку туда, где сворачивается время, где ничего нет, но все возможно?

Хотя раз острие уже прорвало бумагу, то чего я спрашиваю.

Она не говорит что-то типа «Папа скоро придет». Она просто смотрит в окно, на свет, туда, откуда в комнату проникает солнце. Он на минутку хмурится при виде меня в дверях, как будто не узнает, и я знаю, я вижу, как выпадает деталь. Выпадает что-то между тем, каким я был, когда ушел, и тем, и каким я возвращаюсь.

– Ты выбрасываешь моменты, – сказала она мне.

Люди на ходу выкидывают выкуренные сигареты, пустые пачки, сломанные зонты, мнут пакетики из-под сока и кофейные стаканчики, и бумагу – чеки и черновики, тетрадные страницы, журнальные плакаты, вырезанные маски. А я – я выбрасываю нас, пока иду. Выбрасываю моменты, не глядя, выбрасываю, как он смеется и брыкается, как смешно слезает носок, как она кусает его за ухо, притворяясь, что она – серый волк, а потом серый волк под одеялом, а потом серый волк за дверью туалета, и он с любопытством смотрит за угол, не придет ли серый волк оттуда. Я выбрасываю то, что мог бы увидеть, что могло бы быть моим. Что выбрал обвести только их двоих, а себя оставить вне.

Я никогда так не чувствовал протяженность времени, как сейчас – не чувствовал, что я путешествую в нем, забрасываю свой рюкзак каждое утро на плечо, спускаюсь по ступеням в ночи. Я вижу, как вываливается из-под вывесок толпа, как лепится кучками у освещенных парикмахерских, магазинов, вокруг любого, даже скудно освещенного, местечка. Я чувствую его теперь – чувствую значительность каждого проходящего момента, чувствую, как мой палец становится на стрелку часов, как меня прижимает к поверхности его гигантская ладонь. Я лежу и слушаю, как поет земля, как среди зеленоватых облаков светится луна, как звуки проходят через мою грудь, как из тела уходит боль, а музыка поднимается от земли выше, выше, я тут и одновременно не тут, я нужен только для того, чтобы провести все это через себя. Для чего я вообще нужен?

Вокруг меня хотя бы иногда должен быть круг пустоты. Я толкаю чужие плечи, случайно касаюсь рук, провожу ладонью по спинам людей, и они оборачиваются, стараясь рассмотреть мое лицо, но видят только ребра оград, листву куста, отражение автобусных фар. А не меня.

Потому что меня там нет.

Мое отличие от других людей в толпе в последнее время такое сильное, что иногда я чувствую, что почти подкладываю им себя, как подкладывают свинью. Свинья – зарезанная, лежащая на огромном блюде горлом вперед – это я. Ее выносят в блеске свечей, и она блестит своими оловянными глазками, цвета рома, цвета коричневой жижи в самой глубине. Перед ними должен был оказаться я, а оказывается свинья – инородный, разделанный организм, с которым они не знают, что делать. Поэтому они берут нож и неловко, смеясь, тыкают в обнаженное, палевато-розовое брюшко. Сколько раз я чувствовал себя этим неуклюжим, раскинувшимся огромным животным, тушей, которой так хотелось бы ожить и убежать. Я чувствовал отвращение к их вопросам, отвращение к их участливым лицам, согнутым в улыбку, я чувствовал духоту от того, что мне говорят и о чем меня спрашивают, и еще большую – от того, что мне надо отвечать.

Чем ближе я подхожу к ним, чем упорнее пытаюсь встать в один ряд – тем больше становится видно, что мы сделаны из разного теста. В буквальном смысле – внутрь меня вмешан какой-то серый, пупырчатый, незнакомый им материал, и они сначала вглядываются, пытаюсь разглядеть, что я такое, а потом вдруг отшатываются и бросаются прочь, торопясь обратно в свои миры.

Этот материал, что внутри них, и материал, который внутри меня, не вступают в реакцию – не смешиваются, не льются друг в друга, и в глазах у них не блестит огонек узнавания. Они задают вопросы, все ближе и ближе подбираясь к тому, о чем я не хочу говорить – а когда неизбежно вонзают нож, то в лицо им брызжет не кровь, а серая тягучая смесь.

72.

Я работаю, хожу и ищу, и мимо меня несутся целые поезда чужих жизней. Иногда они притормаживают, и я вижу усталые лица в ярко освещенном вагоне – пара сидит, напротив друг друга, а между ними туда-сюда скользит газета, брошенная на стол.

По правде говоря, я не люблю, когда город поворачивается ко мне этой своей стороной – стороной тошнотворных деталей, чем-то, что обязательно будет биться о замкнутое пространство. В вагоне им душно, но им и в голову не приходит думать, что их переносит откуда-то куда-то – и однажды они смогут, наконец, выпрыгнуть на прохладную платформу и оглядеть то место, куда они столько времени ехали.

Большинство из них проводит всю жизнь в этих вагонах, а я наблюдаю, чуть приблизившись к стеклу, как мигает и горит внутри желтый свет. Освещая привычное пространство комнаты, сморщенное лицо их матери, что сидит в кресле в углу, расплывшиеся и разодранные страницы книги, которая лежит сверху на серванте. На самом верху серванта.

Мне запрещено входить в эти движущиеся вагоны, да я бы, наверное, и не смог. Я иногда вижу страдание через свое маленькое окно и злюсь потому, что войти туда нельзя, а вагоны только проносятся мимо.

Поезда отличаются от обычных освещенных окон и квартир тем, что они движутся во времени. Я наблюдаю, как мазками проходит время, и мне удастся заметить его быстрое течение – больше складок на коже, больше белых пятен с неровными краями, на теле и в памяти. Треугольник морщин вокруг носа и рта обозначается резче.

Вагон несется вперед, и я замечаю, как меняется в их жизни то, чего не замечают они сами. Я ощущаю, как поезд немного подбрасывает на стрелках, как звенят колеса, как все

плешиее становится пятно на ковре. Как все труднее становится освободиться от того, что когда-то было, и перестать туда возвращаться.

Все то, что когда-то уже было и прошло, накладывается одно на другое – всплески вдохновения, радостные возгласы, внезапно открывшиеся двери, телефонные звонки, которых не ждали и которых ждали очень давно – все те кирпичи, которые терпеливо складывались одни на другие, и из которых состояла жизнь. А я – я был только наблюдателем. Тем, кто взял и приподнял оконную шторку, и случайно увидел скорую перемотку событий – и кадры, летящие один за другим. А потом ему стало неловко, и шторку он предпочел опустить.

73.

Я шел мимо и заметил афишу. Теперь их совсем не осталось – наверное, не успели отодрать. Перед забором, где она была, виднелись следы шин – какая-то большая машина стояла перед ней, и афишу просто не было видно.

Она была наполовину разодрана, но все равно видно его лицо.

Я думаю про него иногда. Не потому, что на него работал, был у него в штабе и даже немного знал его лично. Я тогда не был поисковиком, был просто обычным молодым человеком с идеями. Идеи, как потом выяснилось, были не те, и их лучше было оставить при себе.

Когда он ушел из мира, в мире все равно осталось что-то от него. В мире все равно тянется его след, и его присутствие все еще ощущается, людьми, с которыми осталась в этом мире его часть.

Я думал о нем. Я думал о его лице – прошло много времени, а я все еще смотрел на его лицо. Я думаю, как получилось так, что он там, а я здесь. Все должно было быть наоборот. Он должен быть здесь, а я должен быть там – проскользнуть, как мышь, как самая последняя мышь, живущая в самом последнем, рассыпающимся от времени сером доме, между камней, исчезнуть в узкой дырочке, протолкнуться в коридор, где бы никто и никогда меня не нашел. Я должен был исчезнуть, уйти, я должен был знать, куда и как убраться, я должен был обогнуть угол улицы, и оттуда это меня, а не его, должны были забрать, скрутив мне руки за спиной.

Это я должен был бы пропасть, как пыль, как дождь, как следы от дождя в городе, состоящем из серого камня, в никуда. Высохнуть и испариться. А не стало его. Его не должно было не стать. Он должен был бы жить. Все – все, кто живут в этом городе – все это знают.

Он смотрит на меня оттуда, со своей афиши. Наполовину разодранной и свисающей, но это неважно. Смотрит – и мне с моим капюшоном, вечно надвинутым на лоб, и руками, засунутыми в карманы, неловко смотреть ему в глаза.

Он смотрит весело, как будто знает, что никуда не исчез. Когда кто-то уходит, все навсегда помнят, какой у него был слом воротника, какая складка была в уголке его губ, как он смеялся, как он складывал руки, как говорил. Как шутил. Он говорит, ничего ты не понимаешь. Я никуда не исчез так же, как не исчез забор, не исчезает трава, не исчезает газон, не исчезает трамвай. Все идет, все движется в привычном порядке. За одним днем приходит другой, а потом третий, и я все еще здесь, просто ты, поднявшись вверх или спустившись вниз, или пляясь без толку на забор, меня не видишь. Но это твоя проблема, говорит он, не моя. Я ничего не боюсь, говорит он. И тогда не боялся тоже.

Я киваю. Я смотрю прямо ему в лицо. Почему-то плакатам, когда они говорят тебе что-то, веришь больше, чем людям.

Потом я подхожу и аккуратно соскабливаю афишу с забора. Надо будет скатать ее и засунуть в ближайшую урну. Я соскабливаю тщательно, очень тщательно, чтобы ничего не осталось. И не потому, что я не хочу, чтобы его лицо – и его имя – ассоциировались со мной.

По-моему, мы проиграли, ты знаешь, говорю я ему внутри себя. Ты никогда в это не верил и, наверное, не веришь и сейчас. По-моему, мы проиграли, и я в этом виноват.

Я, а не ты.

Но я все еще здесь.

Что это значит?

74.

Мне вдруг приходит мысль – а что если он вырастет и спросит, почему я перестал работать на человека на афише. Почему я сдался.

Он вырастет. Очень скоро. Это всегда так бывает – все происходит скоро. Вырастет и будет задавать вопросы – сначала несложные и короткие, а потом те, на которые я не смогу дать ему ответа. Я буду стараться, стараться сказать хоть что-нибудь, чтобы он понял, но он все равно будет хмуриться и смотреть на меня осуждающе.

Я шел и старался не думать о том, как всего того хорошего, чем я хотел для него быть, будет недостаточно – я уже знаю это, я вижу, как он сидит на подоконнике, подтянув колени, и наблюдает за моей спиной, которая все уходит и уходит вдаль, и в конце концов ее поглощает туман. Он будет щуриться, напрягать глаза, когда город замкнется за мной, как щит, и защитит меня от его горячего, обиженного взгляда.

Трус ли я, трус ли, трус ли. Я задавал этот вопрос городу, задавал его крашеным столбам и почтовым ящикам, задавал его скамейкам и вывескам, задавал его закрытым ларькам и открытым решеткам, через которые стекала вода.

Трус, конечно, но я хотел их защитить. Я хотел, чтобы они не оказались в опасности из-за меня. Хотел, чтобы вокруг них стоял невидимый забор, за который, в случае чего, они могли бы скрыться.

Можно было бы, конечно, сказать, что кто-то сделал этот выбор за меня. Или что-то внутри меня сделал этот выбор за меня. Выбор закрыть рот. Выбор отступить в тень. Выбор оставить его там одного, на месте казни. И это совсем не так, как с людьми, которых я не смог спасти. Там, внизу. И совсем не так, как со мной самим.

– Это не так, – сказал бы кое-кто, кто иногда шепчет мне в ухо.

Слушай, хочу сказать я ему. В последнее время меня не берет усталость. Она должна взять меня, укутать, может даже свалить с головой, но она все равно не берет – я чувствую в себе что-то крепкое, что способно ей противостоять, что-то, что уворачивается от нее, когда я иду по городу.

В последнее время мне во всем видится присутствие чего-то большего. В том, как по ночному небу бежит дым. В том, как заканчивается день. В том, как она начинает плакать – лежит на спине и читает книжку, подняв ее над собой, и слезы текут не вниз, а вбок – от уголка глаза к виску. Некоторые каплют на подушку. Некоторые исчезают в волосах. Мне хочется привалиться к ее боку и посмотреть, что она читает, и стереть слезную дорожку

пальцем – иногда я так и делаю, и рассматриваю буквы, а целые фразы не рассматриваю. Она дышит в том же темпе, что и он – горячая грудь поднимается, немного опадает, потом поднимается опять. Иногда она потягивается, переворачиваясь с одного бока на другой. Я смотрю на нее внимательно, но так, чтобы она этого не замечала.

Иногда мне хочется попросить у него, человека на афише, прощения. Я знаю, что он его не примет. Что принимать уже некому. Но все же. Ты не трус – город не говорил этого, но я почувствовал. Ты не трус, но тебе надо кое-что понять. Ты пока не понял, но потом поймешь, и тебе еще много шагов придется пройти, прежде чем ты поймешь. Ты не понимаешь пока – я опустился на скамейку на берегу и стал слушать, как плещется вода – что остро далеко не там, где тебе кажется, что остро. Надо продолжать дальше. Тебе надо двигаться. Вот что говорил мне город.

Я уже вижу наш дом – и сразу, одним глотком – вода дошла до самого затылка – меня наполняет беспокойство. Почему?

Мне хотелось бы отскрести от себя все это, быть чистым – и идти вперед так, чтобы ничего не мучило. Чтобы я закрыл эту дверь, на которой написано «приходит в голову», раз и навсегда – и больше ничего не приходило мне в голову. Хотя бы некоторое время.

И потом – это только говорят, что отпускать мысли просто. Мне всегда сложнее всего давалось отпускание мыслей о ком-то – пока шел, я в буквальном смысле цеплялся за мысли, как за дверную ручку неправильной формы, как за вбитый где попало гвоздь. Цеплялся и ранился. Мысль – я не знаю, это кто-то сказал мне или я сам придумал – но мысль может тянуть вниз и назад, мысль может останавливать и подталкивать вперед, мысль имеет вес, и опускает мою душу вниз, к желудку, к асфальту, вниз, и каждый шаг становится все тяжелее. Мысли это то, что отравляет меня изнутри, и то, отчего мне иногда кажется, что лучше бы жить в другом мире, в другом теле, в другом мне.

75.

Я помню тот день, когда уходил из его штаба. Как перестал работать на человека на афише. Вернее, с ним – никто не работал на него, все работали с ним. У меня был пропуск, и мне надо было его сдать. Положить в специальную коробку, в которой они лежали. Коробка была как стеклянный ящик с отверстием – опустить туда можно, а достать уже нельзя.

Я видел его в тот день. Он со мной не разговаривал, я даже сомневаюсь, что он видел меня – или знал мое лицо. Я был только один из многих, которые каждый день заходили и уходили. Как, в общем-то, и сейчас.

Он прошел в другой стороне комнаты – обычная рубашка, обычные штаны. Что я мог ему сказать? У меня было такое чувство, что как только я повернусь к нему спиной, как только я повернусь и начну шагать к выходу, он меня увидит. У меня было чувство обрубания веревки, измочаливания ее, до волокон, чтобы почти уже совсем ничего не осталось. Что я разрываю что-то внутри себя, изо всех сил тяну его в разные стороны, чтобы оно наконец разорвалось.

Мне все равно. Я могу делать эту работу, потому что мне ужасающе все равно. Так долго мне было плевать на всех, кроме себя, так долго мне было все равно, пропаду я в город или вернусь домой. Так долго я думал, что если я пропаду в сочленении улиц, если я превращусь в облако пороха на углу у постирочной, если я уплыву, как облачка дома, наверх в сторону решетчатых окон, если меня не станет, если не станет ни имени, ни глаз,

ни ног, ни мышц, ни старания, ни мыслей – да кому какая разница. Что я один могу изменить, я это только фигура, я это только очертания, я это только силуэт – один силуэт в огромном городе силуэтов.

76.

А потом у меня перестало получаться. Прятаться в собственное безразличие, в то, что у меня нет мяса, я просто набор очертаний. Мне было все равно, и это позволяло мне жить. А теперь у меня есть ради чего жить, и это не позволяет мне отвернуться и сказать, что тот момент, когда я резко вытащил пропуск из кармана и опустил его в стеклянное отверстие, ничего не значил.

Мне показалось, что он тогда повернул голову посмотрел на меня – прямо на меня – с другого конца комнаты.

Он не смотрел.

Я уже тогда знал, что он не остановится ни за что.

Я уже тогда знал, что я... не могу выговорить это слово.

И почему город должен помогать мне, думаю я зло. Ведь я этого не очень-то заслуживаю. Я никогда не заслуживал этого, и все же город меня покрывал. Покрывал все мои несовершенства. Мои ночные скитания. Мои попытки и мои дороги. Мои руки, засунутые глубоко в карманы, и прищуренные глаза под козырьком кепки. Покрывал мою усталость и мое отчаяние, когда, редко, но все же бывало, я не мог найти тех, кого искал. Я не знал, что они сделают, если я не найду. Я никогда не спрашивал.

Он заслуживал этого гораздо больше.

Он заслуживал этого – как они говорят – милости и благословения – гораздо больше. Чем я.

Я обвел комнату взглядом – в последний раз. Там были крашеные стены, этот самый стеклянный ящик, столы и стулья – ничего особенного. Обычная комната. Только люди необычные. Когда люди связаны чем-то, это сразу видно – поэтому, кстати, так легко искать людей по родственным связям, или по тому, с кем они близки и кто им дорог. Это как сверкающая, светящаяся сеть – всегда знаешь, куда идти следующим. Если у человека таких связей нет, то уже куда сложнее, потому что он, как и я раньше, является одинокой черной точкой. Но таких очень мало. Если не родственники, то хотя бы как здесь, где всех их держит вера.

А тут они были связаны. Все. И мне нравилось тут, нравилось так, как мало где нравилось – хихиканье поднималось к потолку, руки протягивались через стол, все иногда переводили глаза на него, потому что он был центром всего – и далеко за пределами этой комнаты, может, даже за пределы этого города.

Некоторые люди имеют свойство занимать и красить собой пространство, и оно все, какое большое бы ни было, оказывается занято ими. Они имеют свойство расширяться и расширяться и занимать место и у тебя в груди тоже, и я знал, что даже когда я выйду, я не смогу его стрясти, не смогу от него избавиться.

Девушка, которая сидела и что-то писала за столом, и хмурилась – очки сползли на нос – подняла голову:

– Уже уходите?

– Да, – ответил я. – Ухожу.

Это, наверное, единственный раз, когда я шел, полностью закрыв глаза. Я никогда не закрываю глаза, пока не ложусь в кровать, а особенно не закрываю, когда иду – мало ли что может случиться. Я не делаю эту ошибку, потому что делать ошибки мне дорого обходится.

Но слезы жгли, и я шел, закрыв глаза, и со мной ничего не случилось.

Со мной ничего не случилось.

77.

Засунув афишу в мусорку, я иду дальше. Быстро, не оглядываясь. Я чувствую, что внутри меня бьется что-то, что хочет выйти наружу. Оно большое, но одновременно легкое – я представляю его как комок из серых перьев, который мечется внутри меня туда-сюда. Из груди в живот, из спины в горло, немного передохнуть, а потом снова начинает бить мне в ребра, и они дрожат и гудят. Мое тело не дает ему вылететь, и я думаю, как жаль иметь узкое горлышко, из которой оно никак не может выскользнуть. Подожди, думаю я, сможешь выйти во сне. Я буду ворочаться, переваливаться, подминая одеяло под себя, а ты сможешь выскользнуть – под покровом ночи, пролететь у меня между губ и потом в створки открытого окна.

Что ты все стучишь и не даешь мне покоя, я разве соглашался носить тебя в себе? Разве меня кто-нибудь спрашивал?

Я думаю о том, что происходит внизу. Иногда мне смешно от мысли, что меня будут судить. Иногда мне от нее страшно.

Мне даже интересно, что они подумают, если возьмут и выложат в одну линию все, о чем я когда-либо думал и все, что я когда-либо делал. Будут ли они складывать хорошие дела в одну сторону, а плохие в другую? А нейтральные куда – отбрасывать подальше, в специальную корзину, которая почему-то напоминает зеленый мусорный бак? Делал ли я по одному хорошему делу, чтобы покрыть каждое плохое? Думал ли хорошую, чистую мысль – например о том, как он смотрит в потолок, когда открывает глаза – на каждую мысль грязную, о запрещенных картинках на ячеистых экранах, о груди, розовато-белой, которая колыхалась, пока она, придерживаясь за перила, спускалась вниз?

Плечи мои чуть заметно опускались, и я прятал улыбку в краю рта. Нет, грязных мыслей было больше. Я никогда не удивлялся чьи-нибудь прегрешениям – может быть потому, что не было ни одного дня, ни одного маршрута, ни одной улицы, которые давали бы мне так легко отвернуться от собственной черноты.

Это будет не тот суд, на котором так уж интересно присутствовать. Мне так кажется. Наоборот – представитель обвинения, со сморщенным в многовековую гримасу лицом, может быть, где-то даже обросший шерстью, и защита, со своим золотым диском, который сполз немного назад на лысине. Я избегаю взгляда судьи.

Я стою там, скособочившись на одну сторону, как ученик, которого в неподходящий момент вызвали к доске. Изучаю, как за учительским столом идет по подоконнику толстый грач. Не то чтобы я не хотел там быть – просто подхожу к этому как к обязательной процедуре.

На весы все закидываются и закидываются гири. Ни обвинение, ни защита ничего не пропускают – досматривают мой багаж, который я накопил с того момента, как вышел туда, до того, как пришлось уйти. Вытаскивают мои вещи одну за другой. Я стараюсь не

думать о ней – мысль о ней все по-другому красит. Ведь что этот суд такое, как ни странная ситуация. Все ситуации в какой-то мере странные – эта не страннее других.

Что-то подсказывает мне, что я смогу продолжать идти потом. Когда и это закончится. Может быть, я даже смогу выбрать дорогу – пошагать куда-нибудь еще, и никогда больше не прекращать идти.

78.

Они, конечно, знают, что я работал на него. Но терять меня вот просто так им не хочется. Гораздо проще заставлять меня искать информацию, чем ее из меня доставать.

Я потянул на себя дверцу садового ящика, как только дошел. В сквере никого не было – только мокрые скамьи, мокрые скамейки и такие же мокрые листья. Я пришел сюда, как обычно, быстрым шагом, заложив руки в карманы, особо не оглядываясь по сторонам, с того момента, как соскреб афишу – некогда было.

Бумажка лежала, заложенная между коричневатыми от времени страницами книги в красной обложке – примитивный революционный памфлет, подогнанный точно, точнее, чем крышка гроба.

Прежде чем мы заселились в квартиру, я поверил все стены, полы и отверстия в стене. На предмет того, где что можно было поставить внутрь. Я проверил также потолки, подоконники, и за батареями. Я отодвинул холодильник, я пошарил за кухонными ящиками, я лег на пол и прижался близко-близко, самой щекой к доскам. Нигде ничего не было, но время от времени я процедуру повторял, на тот случай, если вдруг одна стена насчет звучать не так, как другие.

В этот раз они решили вложить в революционный памфлет, вернее, манифест, вернее, конституцию, вернее, постулат, вернее, ту книгу, которая задумывалась как единственная и в итоге была откинута как ненужная. Не просто так, наверное. Не без всякой задней мысли.

Фото было женщины – сильно накрашенной, и которую можно было бы назвать красивой, если бы не ослабившееся, хищное выражение ее лица, черты, которые могли бы быть чертами царевны, а время сложило их в птичий клюв, которым она клевала все то, что предлагалось ей по жизни.

Я знал, куда отправиться, чтобы искать таких женщин. Я даже примерно знал, зачем она им понадобилась, потому что такие сороки, или галки, которые собирают все блестящее, но сами редко попадают, обычно обладают информацией, которую редко может дать обычный поисковик.

Я сложил бумажку вчетверо и положил в карман. Выпрямился. Боковым зрением мне показалось, что за кустами было какое-то движение.

Я повернул голову и всмотрелся. Голые ветки. Мусорные баки. Ничего.

Надо было идти, потому что я знал, где ее искать.

79.

Город лежит, разрезанный вдоль, с севера на юг, на моей ладони. Можно полосовать еще, и получатся куски – каждый брать и подносить очень близко к глазам, рассматривать, что там внутри. Вытягивать по одной жилы его шоссе, переворачивать, проверяя, не завалилось ли чего там, где серыми и золотыми пиками утыкаются в небо памятники.

По пути с севера на юг проходит жизнь – отец-основатель, наверное, очень забавлялся, когда составлял этот маршрут. Прыжки через скакалку, подобрав юбку у колен, на самом севере – ограда детского сада такая высокая, что через нее не удастся заглянуть и понять, что произошло сегодня там, во взрослом мире. Чуть ниже – скрученные самостоятельно сигареты, когда аккуратно, пальцами придерживают бумагу, раскатывают на крошечном столике лист, подсыпают туда табак, щепоткой набрав его из кармана. Потом, примериваясь, насыпают еще немного, не спеша заворачивают обратно и подносят к тонкому краю зажигалку. Прикурить и затянуться, не закашлявшись, шикарно – и сквозь дым смотреть на лицеистку напротив, тоненькую, в топе на завязочках, тяжелых ботинках и с независимым видом. Ей только что исполнилось шестнадцать, и она специально не отводит взгляда. Ну конечно.

Еще ниже, самый центр – это клубы, толпа на входе, майка, залитая алкоголем, и взметнувшиеся вверх руки. Зайти просто так, схватить за плечо и поцеловать какую-нибудь, которой могло оказаться сколько угодно лет, у которой могло быть какое угодно имя, у которой мог даже быть бойфренд, которого я в сумраке не заметил, было обычным делом – когда-то. Музыка покачивалась в ряду прозрачных маленьких склянок, которые стояли позади бара, я смотрел, как дрожит в них жидкость, и в голове у меня пело и плыло. Я видел только обтянутое белой майкой плечо, пока очередная сидела у меня на коленях, обхватив рукой за шею.

– Как тебя зовут? – она наклонилась к моему лицу очень близко, но в глаза не смотрела – качала головой в такт музыке.

– Никак.

Выпив, они всегда цеплялись за меня, держались так крепко, как будто их сейчас, прямо в их блестящих перьях и с сумочками, которые они вечно забывали в сортире, снесет с поверхности земли. Мне нравилась близость их кожи, то, как блестели в темноте их глаза, как мягкие волосы щекотали мою шею, но это их всегдашнее желание не просто нравиться, но кому-то принадлежать – от души раздражало. Зачем так хотеть приткнуться к кому-то, о ком еще вчера ты и понятия не имел – думал я ожесточенно, щелкая зажигалкой. Почему, когда ночью тебе сверкала одна сторона медали, и ты польстился, наутро ты должен заглянуть и за другой бок, и похвалить, и даже погладить, чтобы она решила, что нравится тебе вся, и плохая, и хорошая?

Мне нравится только плохая, хотел сказать я. Мне вполне достаточно одной стороны.

Ровно там ее и надо было искать – в самом центре, в этом клубе, за задней дверью, где была лестница, которая вела на подпольный этаж. Задымленный танцпол, шесты, вокруг которых крутятся плотно сбитые и блестящие молочным блеском тела. Напряженные перекрученные мышцы и тонкий слой жира. Капельки пота, серебряные ожерелья и блестки, которые остаются в уголках глаз и под платформами. Она должна была крутиться там, механически, без интереса, уцепившись одной рукой за шест, по кругу, по кругу, и не видя перед собой ничего, кроме черной пустоты. Глаза расфокусированы. Волосы свисают по обе стороны лица, закрывая его почти полностью.

Я видел ее так четко, как будто она на самом деле была передо мной. Но, когда зашел, я поначалу не стал спускаться вниз, а присел за стойку. Лошадка на карусели, гладкая потная спина. Карусель. Карусель.

– Ты что здесь делаешь, приятель?

Здоровенный детина, в пиджаке, который ему явно мал. Похож на того, кто был на чердаке. Но не он. Нет, не он. Присел рядом со мной и заговорил как будто бы случайно. Пробил стену молчания, которая обычно окружает меня, когда я хожу по городу. Но я-то знаю, что просто так ее не пробивают.

Я достаю из кармана купюру и кладу ее на стойку. Он смотрит на меня внимательно. Цепь на толстой шее блестит в темноте. Тут никогда не зажигается свет. Если зажегся свет, это будет означать, что заведение закрылось.

Он смотрит так долго, что я почти уже спрашиваю, нравлюсь я ему, что ли. Этого не стоит делать, но просто из той части меня, которой всегда хочется все опрокинуть.

– Нужно чего? – спрашивает он.

Двумя пальцами придвигает купюру к себе. Она исчезает в его кармане.

– Да просто осматриваюсь. Зашел выпить.

Он мне не верит, и я знаю, что он мне не верит.

– Девушка нужна?

В этот момент музыка меняется, и бахает так, что у меня почти закладывает уши. Мы оба оглядываемся на танцпол, где – даже в такой час, в любой час – полно народу. Майки и блестящие платья, тонкие каблуки и ремешки, звенящие серебряные браслеты, наушники и даже одна мотоциклетная каска.

Я прикидываю. По его виду почти точно понятно, что искать самому он мне не даст. Спуститься вниз, скорее всего, тоже. Тут у них происходит что-то такое, что он не хочет, чтобы я увидел, но он не знает, что мне наплевать. Он не знает, что конкретно мне нужно. Еще не знает.

– Девушка нужна, – говорю я утвердительно. – Не... не отсюда.

Я киваю на танцпол.

Он никак не реагирует. Только большие руки, я вижу, упираются в брючные колени.

– Нужно что-то... особенное? – спрашивает он, слегка откинув голову.

Я отпиваю из своего стакана. Пиво уже как-то успело стать теплым, и теперь на языке горький противный вкус.

– Нет, я одну конкретную ищу. Работает здесь.

– Какую?

Я думаю, что сказать. Он не спрашивает зачем. Он только спрашивает, какую.

– Черные волосы, ниже плеч. Густые. Мускулистая... такая. Скуластая.

Уже по первым двум словам я вижу, что он знает, о ком я говорю. Но, к моему удивлению, он почти сразу качает головой.

– Она не здесь. Давно ее не видел.

– Давно? – переспрашиваю я.

Он мнетя и хмурится еще сильнее.

– С неделю. – говорит он, подумав. – С неделю ее не было. На свою смену не вышла.

Врет или нет? Защищает ее?

– Когда у нее смена?

– По вторникам. И пятницам. – Он говорит, по-прежнему смотря на танцпол, а не на меня. – Во вторник ее не было.

– А вниз можно спуститься посмотреть?

– Можно, – он едва заметно кивает. – Можешь пойти.

Не вызывается пойти со мной. Надо же.

– Вы ей звонили? – спрашиваю я. – Писали? Знаете, где она живет? Почему перестала приходить на работу?

– Много ты вопросов задаешь.

Я молчу. Он качает головой.

– Я не знаю адреса. Никто тут... не знает.

– Что, просто пропала, что ли?

Он внезапно хлопает огромной ладонью по коленке.

– Ты спрашиваешь, я отвечаю! Не знаю я ее адрес. Тут никто не знает ничей реальный адрес, ты что, не понимаешь? Звонить может и звонили, но она не пришла во вторник, и все.

– А раньше она пропадала? – я отхлебнул еще пива.

– Нет. – он покачал головой. – Раньше не пропадала.

– Давно она тут работает?

– Несколько лет. – Он прищурился. – Одна из... ну, старожилов. Года три, наверное.

– И никогда не пропадала?

– Нет.

Он вдруг вздохнул – коротко и резко.

– Иди. Смотри. Тебе же надо.

И я пошел.

Я знал – каким-то вторым зрением, шестым чувством, как знал на чердаке – что ее там нет. Уже нет, хотя она там и была, была совсем недавно – там еще был ее запах, ее вещи, ее резинки для волос в ящике стола. Она еще была там, и что-то важное для нее было. Поэтому мне надо было спуститься и посмотреть.

Я поднялся, прошел, не спрашивая, где дверь – рядом с туалетами. Большая черная металлическая дверь. Толкнул. Она оказалась незапертой. Я пожал плечами и стал спускаться по винтовой лестнице вниз. Лестница была черная, стены тоже были черные, только одна лампочка вверху.

Когда я спустился, все было так же – шесты, серебряный глиттер, крутящиеся фигуры. Клиентов было мало, танцовщиц, как и в прошлый раз, когда я тут был, три. С этими можно уйти в кабинки. Не она. Не она. И снова не она.

Я обогнул танцпол и заглянул в дальний угол, где раздевалки. Охраны тут не было, только бармен, у которого в данный момент были заняты обе руки, и он не смотрел в мою сторону.

Я скользнул за перегородку. Все как в обычной раздевалке – скамьи, зеркала, стойка, заваленная баночками, кремами, чем-то капроновым, парики, висящие на стене, костюмы, кисти, бинты. Один бинт в крови, но крови немного. Туфли на огромных каблуках, которыми, если дать по лбу, и убить можно.

Времени было мало. Кто-то мог и зайти. Я наугад потянул на себя ящик в дальней левой стороне. Почти наугад. Я знал, что он ее, еще до того, как дотронулся до ручки.

Презервативы. Пластыри. Бинты. Трусики, еще одни, какая-то одежда в пластиковом пакете. Таблетки, но мало, в блистере осталось только три. Я посмотрел какие – название было мне незнакомо. Но похоже, что рецептурные. Нет, все не то. Я нетерпеливо отодвинул ее вещи в сторону, выдвинул ящик до конца. И нашел.

Кулон. На тонкой серебристой цепочке. Явно серебряный, и задвинут в дальнюю часть ящика. Она забыла его тут, забыла, хотя не хотела оставлять – не было времени забрать, что ли? Она рискнет вернуться за ним – я знал, что вернется, хотя возвращаться не

следовало. Когда оставляешь где-нибудь часть себя и уходишь, возвращаться обычно не стоит – по той же самой причине, по которой ты ушел в первый раз. Но она вернется, и я это не одобрял.

Все было сделано. Моя работа практически закончена, надо только дать им информацию, и убраться отсюда. Я запустил пальцы во внутренний карман, аккуратно вытащил оттуда кольцо с ящерицей, завернул его в пластырь, потом засунул в пластиковый пакет с другими мелочами, и опустил пакет в ящик.

Задвинув его, я выскользнул из-за двери и насколько мог быстро пересек зал. Я чувствовал взгляд бармена на затылке, но не оглянулся. Тот, в пиджаке, ему объяснит.

– Ну как? Нашел? – спросил он, когда я вернулся к стойке. Мой стакан пива все еще был там, но сделать еще глоток что-то не тянуло.

– Никого нет.

– Я же говорил.

– Она тут с кем-то дружила? – спросил я.

Он фыркнул.

– Дружила? Тут никто ни с кем не дружит. Все работают.

Это я знал. Когда спишь за деньги, или продаешь что, заводить дружбу особых резонов нет.

– Мне надо идти.

Он пожал плечами, поднялся с барного табурета и, даже не кивнув, не посмотрев в мою сторону, исчез в толпе с другой стороны бара. Я пожал плечами, и стал, сталкиваясь с людьми на танцполе, плечами, руками – одна девица даже попыталась обнять меня за шею и увлечь за собой – пробираться к выходу.

Ну у меня и работа, конечно.

Работа как работа.

80.

Она пропала, и это меня не очень удивляло. Логично – она что-то подозревала, она где-то подставилась, где-то сделала неосторожный шаг.

Люди пропадают отовсюду. Когда я иду по городу, я почти вижу, как это происходит – но иногда, моргнув, я не знаю, могу ли верить собственным глазам. Я готов был поклясться, что мне навстречу шла фигура в черном пуховике – край у него дергался, потому что двигалась она неровно, подпрыгивая на каждом шагу. За плечом я услышал рев сирены и повернулся, фигура дернулась вбок и назад, а когда я, отпрыгнув, отряхнул брюки и снова посмотрел в ее сторону – ее уже не было. Ветки не качались, и не рябила вода в луже, только по поверхности безучастно плыл кленовый лист, и мне показалось, что он, как и я, устоялся куда-то и не видит того, что должно там быть.

Люди пропадают, когда спускаются вниз, и исчезают, когда поднимаются вверх – вот они взялись на ручку турникета, ударили ладонью в металлическую дверь, провели ей по грязной резиновой ленте – но в вагоне их нет, и нет ни у одного выхода, и нет в поезде, который только подходит к платформе. Наверное, они испаряются даже из своих собственных квартир, только я этого не вижу.

Толпа течет по улицам, извиваясь, а я думаю о том, что если из-за моего плеча исчезнет один человек, то этого никто не заметит. Я думаю, что если все они думают об одном и том же, то разве важно, кого наказать – можно выдергивать волосы из этой толпы, ждать, пока она поредеет, и ломать их по одному. Толпа все равно будет – пока на доске

достаточно фигурок, это равно толпа. Это не страх гонит ее вперед, не желание жить – городские толпы гонит вперед что-то другое, что-то, что бьется в сердце города, тот ритм, в такт которому я иду.

Толпу, настоящую городскую толпу, уставшую, злую и потную, которая никуда не влезает, цокает языками, взвизгивает ругательствами и окриками – я не люблю, и в нее не вмешиваюсь, если только мне не понадобилось за чем-то в самую середину этого водоворота. Представляю себя крупинками корицы, которые вмешивают в желтоватое и клейкое тесто – за деревянной ложкой они сначала проходят круг, потом еще, а потом и совсем исчезают. Оказавшись там, я почти всегда жалею – начинаю преть, тянуть шею, стараюсь разглядеть, где у толпы край, и толкать острым локтем в чужие бока. У толпы есть только одно преимущество – анонимность. Она двигается как единая куча, так же думает, говорит и живет. Спорить с ней так же глупо, как спорить с волной, что несет тебя к берегу, чтобы ударить о камни и снова откатиться – зеленая соленая волна.

Иногда я готов поклясться, что в моей голове слышится целый гул голосов, я слышу и чувствую, как они спорят и вскрикивают, как раздаются отдельные фразы, и я даже узнаю интонации – это та ее подруга? Это тот, с которым мы разошлись, не обменявшись и словом? Или это просто я сам складываю у себя внутри какофонию, и никаких странных мест, куда можно заглянуть, нет – это просто частичка безумия, прицепившегося где-то по дороге, вируса, который я подхватил, сам того не зная – вползает мне внутрь, поднимается, как уровень красного, как температура, начинает звучать?

В конце концов, когда в толпе много голосов, лучше всего пристроиться сбоку, смотреть в мутное стекло, автобуса, и ловить обрывки разговоров, и так же легко их отпускать, потому что ни один из них не касается тебя.

Я задумался – чем еще заразил меня город? Да чем угодно. Может, чем-то опасным, что уже живет во мне, но еще не пустило ростки. А может, просто укусами, красными точками, которые завтра пройдут. А может, чем-то, что уже просочилось в мою кровь. Что-то я провожу насквозь, а что-то остается внутри.

Обычные прохожие, продавцы, агенты недвижимости, бездомные, съездившие под грязными одеялами, даже женщина, которая сидит, вцепившись обеими руками в свою тележку, под автобусным табло – вдруг все они вдруг сорвутся с места и побегут? Побегут, потому что не хотят тоже исчезнуть. Не потому, что любят бегать – кто вообще любит эту накопленную боль, эту полоску, пульсирующую в ноге, вставленную в самое неудобное место. Глухой хруст мышц и сухожилий. Щиколотка, неудобно подвернутая, которая никак не хочет вставать на привычное место. Колено углом оно смотрит чуть в сторону, и надо не доверять ему слишком, не висеть на нем, на тонкой-претонкой резинке.

Они побегут больше за другим – или от другого. Ощущение побега. Избавления. Единый ритм, в котором город раскачивается туда-сюда. За тем, что если нестись вперед, то молотилка начинает вращаться – нехотя, медленно, но оборот за оборотом в ней сгорает ярость, сгорает грусть, сгорает досада, сгорает разочарование. Есть бежать, уезжать, убираться отсюда, то в ней хорошо горит прошлое, пока ноги тоже горят, спереди, где отчаянно работают сгибатели бедра, снова и снова выталкивая корпус вперед.

Когда я иду, молотилка тоже работает – но колесо поворачивается неспешно, проплывая над моей головой на каждом обороте, и я успеваю рассмотреть, что уходит ему в жерло. Все закручивается и исчезает медленнее, и я успеваю пройти по нему пальцами до того, как у меня отберут очередное чувство.

Она плакала, скрючившись на подоконнике – окна закрыты, но был виден край тучи, случайно заползший в наш двор. Один из многих разов, когда я не мог ее утешить – я просто стоял рядом и смотрел мимо нее в окно, где туча все пузырилась и чернела. Я не хотел видеть, но все равно видел, как трясутся ее плечи, и я знал, что она спросит: «Как мы теперь будем жить?», и я вдруг обозлюсь на нее, и стану смотреть на тучу еще более ожесточенно, как будто мой взгляд может пробуравить в этой туче, в самом ее центре, золотистого цвета, дыру.

– Почему ты так торопишься забыть? – спросила она как-то. – Я иногда у тебя спрашиваю что-то, и у меня такое чувство, что ты ничего не помнишь.

– Кто сказал, что я тороплюсь, – я засунул руки в карманы, поглубже. – Просто забываю. Всегда есть, чем заполнить старое. Так разве не лучше?

Она молчала.

– Может, кое-что стоило бы и сохранить.

– Воспоминания убивают, – сказал я тогда. – Ты знаешь, да? Воспоминания убивают.

Забывать стало моей работой – то, что я видел, то, что я сделал, то, что я узнал, и то, что я выбрал. Я делаю это профессионально, как на конвейере. Как только мне подадут очередной громоздкий пакет на этом бесконечном конвейере, очередное белое лицо, которое смотрит на меня в изумлении со слегка приоткрытыми губами; очередные глаза с ужасом, который плещется внутри; очередной срывающийся голос и синяки, которые кровоподтеками алеют под кожей; очередные сжатые костяшки, и подрагивающие ресницы – я сразу начинаю забывать. Работаю я быстро – сначала заворачиваю все это слой за слоем в пленку, прозрачную, но с каждым оборотом все туже и туже. Потом набиваю чем-то еще, кладу карту сверху на карту. Иногда воспоминания надо разрубать, крошить на такие мелкие детали, чтобы они уже не складывались в единую картину, и чтобы сложнее было помнить, как было на самом деле.

Этот конвейер работает быстро – не успеваю я завернуть пакет и подтолкнуть его вперед, как уже подъезжает следующий. Когда я закрываю глаза, я вижу только белый туман, а где-то там остался лежать отрезанный кусок прошлого.

– В конце концов, это просто тяжело, – она ничего не говорила, но я все равно начал раздражаться. – Я не могу с собой таскать всю коллекцию воспоминаний. Так и шага не сделаешь, если сесть на скамейку и начать вытаскивать «почему случилось то, почему случилось это».

– А что плохого в том, чтобы запоминать важное?

– Важное я помню. Не волнуйся.

– И когда у меня день рождения?

Я назвал дату.

– Неправильно!

– На значит на следующий день.

– Правильно!

Она засмеялась, запрокинув голову назад.

– Столько лет вместе, а все еще не знаешь.

– Да ладно, мне только две попытки надо было.

Она снова засмеялась и пихнула меня в грудь.

Если я однажды исчезну., то он будет забывать меня по частям. Как картинку, которую закрыли рукой и надо перечислить как можно больше деталей того, что на ней было. Самые внимательные перечисляют все, до цветов, а он будет то вспоминать мое лицо во всех деталях, то наткаться на белое пятно. Как будто был я – а потом меня закрыли рукой, сразу всего, целиком, и теперь не вспомнить. Я склонился – и вот меня снова нет, и на моем месте в памяти оказывается пустота. То, как я смеялся, то, сколько мне лет, то, как я выгляжу со спины – тот мужчина, что идет впереди, мог бы быть мной, а может, это и есть я.

Цвета уйдут первыми. Потом, наверное, мой запах и мои привычки – легко переставить вещи и забыть, где я их ставил. Потом то, что я смотрел и слушал – она по привычке куда-то не туда сохранит папку, и та канет в неизвестность. Потом одежда – все черно-сине-серая, от нее избавиться будет нетрудно. Потом то, какой у меня ужасный почерк – хотя это, как и мой смех и привычка закладывать карандаш за ухо, вполне имеет шансы задержаться.

Она наверняка не будет садиться на то место в кухне, где обычно сидел я, и спать с той стороны кровати. Не будет пользоваться моим одеялом – может, даже выкинет его или отдаст на соседской распродаже,.

– В места, которые занимали люди, не обязательно сразу пытаться прилаживать других людей.

Так бы она сказала.

Но иногда я все равно думаю, что место рядом с ними долго не будет пустовать. Это как слова в комиксе, которые забыли вписать в облачко. Там должна была быть реплика, но ее забыли напечатать, и ты вписал ее туда сам, чтобы не ждать, когда в следующем издании поправят ошибку.

Пустота не живет в городе долго – пустые места рано или поздно заполняются сами.

82.

Город слегка коснулся меня. Она иногда так делает, когда хочет дать мне мысль, дать новое направление движения. Не могу объяснить, как это бывает, но как будто пальцы прикасаются к спине между лопатками.

Я вздохнул.

Мысль, которую он дал мне тогда, была про скорость времени. Про то, что если я так уж ловко обращаюсь с предметами на своем конвейере – натягиваю перчатки, хватаю их не глядя и начинаю накладывать на них слои других, более счастливых дней, крепко заматываю то, что не хочу вспоминать, закрываю его внутри, придерживая пальцами. Если все так уж быстро проходит, и я иду к следующему повороту, надеясь попасть на улицу, на которой никогда не был, то кто сказал, что те же самые воспоминания не будут приезжать снова и снова?

Кто-то забывается сразу – силуэт в балконном проеме, скрещенные на груди руки, наклоненная голова, так, что сверху видно только затылок. Черные фигуры в назначенный час включают лампы, дергают за занавески, и занавес закрывается перед ними, но на фоне они все равно пляшут, поставив чайник на железный треножник и усевшись вокруг стола. Пляшут их руки – что-то сдвигают, берут, подцепляют за самый краешек, пробуют пальцем, облизывая его, пока другие не видят. Пляшут плечи и бока, туда-сюда раскачиваются талии.

Я иду и смотрю, как в высоких окнах зажигается свет, как спичечные головки то сходятся – поцелуй, то исчезают.

Нельзя сказать, что я их забыл. Просто я знаю, что они и сейчас живут ровно там, где я их оставил. Это я ушел, смылся с картинки, и они нашли этому какое-то объяснение – не все ли равно, какое? Я всего лишь щелкнул ногтем и опустил их, как оливки в перевернутую пирамидку бокала, обратно в собственную историю. Они скоро там проспиртуются, пропитаются и уже не всплывут – будут болтать за кухонным столом, переругиваться, а потом щелкнут выключателем и так и забудут про меня, как будто еще одного стула там никогда и не было.

Я усмехаюсь. Иногда надо признать, что чужие истории без твоего участия станут только лучше.

У меня ни минуты нет, чтобы остановиться – я занят поиском того, во что бы завернуть свою боль, чтобы оно меньше болело.

– Смешно, – как бы говорит город. – Ты думаешь, что тебе нужно больше времени, чтобы жить, а на самом деле больше времени на то, чтобы забыть уже прожитое.

Он неправ.

83.

Автобус ведет прямо к нашему дому. Мне надо возвращаться – передать информацию, и потом, я отсутствовал и так уже слишком долго, и уже начало темнеть. Я торопился вернуться и вышел в двух остановках от дома, нашел почтовый ящик – в определенном месте, определенного цвета. Я так давно на этой работе, что знаю их все наизусть. Ящик напротив закрытого на ночь кафе, и пустые окна блестят черным. Я засовываю внутрь руку и опускаю туда бумажку. На секунду мне кажется, что что-то там, внутри, тыкается мне в ладонь – как влажный нос собаки. Но я вытаскиваю ладонь – она пустая, и на ней ничего нет – ни следа зубов, ни влажного пятна от носа и горячего дыхания. Ничего. Бумажка исчезла внутри.

Почти все уже закрылись – через квартал от нашего дома только одна витрина была освещена, если не считать бара на углу. Свадебный салон. Полностью прозрачные двери.

Я помнил его, потому что мы с ней были там один раз. Я помню, как она зашла, оглядела ряды сатиновых, кружевных, атласных, крепдешиновых, с корсетами, подвязками, шлейфами и торчащими подолами платьев, потянулась провести по ним рукой, но рука не дотянулась до ткани. Она отвела руку, повернулась и сказала:

– Уйдем?

Мы ушли – вышли из стеклянных дверей еще до того, как продавщица успела сказать «здравствуйте».

Мы уже прошли два квартала, я спросил:

– Слушай, а почему?

Она втянула голову в плечи.

– Не знаю. Какое-то странное место. Как магазин... гробов. Как будто гробы этим шелком выстилали. А потом на платья пустили.

Она скривила край рта.

– И оформлено так... Без фантазии. Без любви. Без вкуса. Просто ряды вешалок. И свет, в котором выглядишь как моль! Кто придумал этот белый свет, не желтый, а белый, как в операционной? Или в больницах по ночам такой бывает.

Или еще кое-где, подумал я. Но об этом знал только я.

Свет они, как я теперь увидел, заменили – белый и правда отпугивал клиентов, и теперь витрина переливалась бриллиантово-желтым, и большое зеркало, которое виделось через стекло, сияло, окруженное с трех сторон лампочками поменьше.

В салоне кто-то был, что меня удивило – девушка в дальнем краю, которая стояла перед другим зеркалом, в глубине. Другая, постарше, ползала вокруг нее на коленях, чтобы подоткнуть булавками подол.

Девушка показалась мне знакомой. Я пригляделся. Нет, это не жиличка, которая на дне двора как в стакане посреди ночи. Но я все равно ее где-то видел – где? Причем недавно – эта шея, эти высокие скулы, сильно выпирающие ключицы и манера слегка горбиться, а потом выпрямляться.

А потом я вспомнил. Ну конечно. Невеста того хлыща из лифта, молодчика в черном узком костюме. Я пару раз видел, как они вместе поднимались по лестнице, даже видел ее силуэт – этот же, что сейчас – в их окне. Я подумал и решил зайти. Незаметно. Не то чтобы мне хотелось рассмотреть ее поближе, но что-то притянуло меня в этой огромной освещенной витрине, которая единственная еще светилась на абсолютно темной улице.

– Так поздно, – говорила консультантка, и продолжала ползать.

– Извините, – отвечала другая.

Голос у нее был такой странный, что я даже вгляделся, откуда стоял, в ее лицо. Ей как будто стоило больших усилий выговаривать слова, выжимать их из своей худой груди. Они вылетали по одному, как листки из принтера – плоские, совсем без выражения. Она была на огромных каблуках, и стояла на них, не сгибая ноги и слегка покачиваясь. Одна рука отставлена в сторону, чтобы не потерять равновесие, плечи сильно, почти слишком сильно, отведены назад. Консультантка одной рукой держала коробку с булавками, а другой крепко взялась за подол, и подтыкала то тут, то там, дергая его. Работать было неудобно, и она тыкала куда попало, то потянув, то отпустив край платья, то с явной неохотой распуская там, где было слишком коротко. Она елозила по полу, ворчала и в конце концов уселась по-турецки, наклонившись вперед, к самому краю платья. На невесту она не смотрела.

Та стояла неподвижно. Трудно было сказать, замечает она это постоянное дерганье или нет – глаза ее смотрели вперед, в зеркало, но я был почти уверен, что там она ничего не видит.

Платье было совсем простым – в свете ламп оно серебрилось и лилось вниз. В нем не было ни пышности, ни корсета, ни вышивки – только этот блеск серебра. Молодое лицо, но худое и какое-то темное – темные волосы, темные глаза, сильно впавшие, с глубокими тенями под ними. Губы красивой формы, но совсем бескровные. Платье не висело на ней, нет – оно вполне себе сидело, но все равно выглядело трафаретом, приложенным к ней случайно. Руки упали по бокам, и волосы, сухие и тонкие, но объемные, как куст. Я подумал, что она выглядит уставшей, даже больше – она выглядит изможденной. Все сошлось – и блестящие лампы, и красота, пробивающаяся через усталость, и этот сдержанный, переливающийся блеск ночной реки. Но связи между ее телом, лицом и платьем не было – и три субстанции так и болтались внутри пробирки, вначале просто вода, потом масло с его жирными разводами, а потом пузырящаяся шапка красного мусса, которую напрасно взбили – только край заляпали. Глупо.

Я рассматривал ее и думал – так, наверное, выглядели раньше самые красивые девушки племени, которых решали принести в жертву. За которых, тем не менее, никто не заступился, когда их решили привязать к камню и развести вокруг огонь. Или закрыть в подвале. Или закопать заживо. Они обводили отчаянным взглядом всех, кто был вокруг, останавливались на каждом лице. Посмотри, что они со мной делают – ты же любил меня однажды, или говорил, что любил. Посмотри, это всего лишь мое тело, и мои запястья, а теперь они перевязаны веревками. Не отворачивайся, я же здесь, и здесь, и я все чувствую – каждое слово, каждую ноту, шевеление каждого отдельного листка на деревьях. Все стало таким четким, и даже тогда, когда мое сознание гаснет, когда сама я гасну, когда всю меня проглотила боль – даже тогда я все еще чувствую. Я останусь с тобой, понимаешь? То, что они сделали, остается в мире. Только кажется, что про это все забыли, и время накрыло меня и погребло под собой. Но я все еще здесь. Я даже могу переселиться в нее – такую же, совсем такую же, как я. Красивую. С ней никогда не случится то, что они сделали со мной, но все равно я заставлю ее сердце болеть. Я-то – летала везде с ветром и знаю теперь, что мы связаны – чем-то глубже, чем род, и крепче, чем воспоминания. Мы – я тогда, она сейчас – связаны красотой. И тем, какой опасной кажется красота тем, кто на нее смотрит. Щурится, вглядывается и передергивает плечами. Она красивая, и она понимает то, чего не поймет никто другой, чего даже ты не понимаешь.

Красотой все хотят обладать. Не просто обладать, а спрятать и присвоить. Она сама притягивает к себе внимание, и взгляды сходятся на ней, как лучи. Мы с ней, этой девушкой в платье, связаны взглядом посторонних, вожделением незнакомцев, ладонью, которая ложится на голую ляжку. Мы связаны нечистым желанием, раскаленным, лижущим, от которого не лестно, а хочется отшатнуться. Мы связаны тем, что превращаем их в псов, и они, рыча, бьются за нас, как за кусок мяса. Я видела очень близко их глаза и зубы – ничем не лучше, чем у собак.

Страдание не растворяется просто так в мире. Видишь, я рассказываю тебе свою историю, рассказываю, потому что нашла тебя и потому, что ты услышал. И она – не услышала, а почувствовала. Она знает, что вокруг груди у нее сжимается тугой провод, и ей хочется выйти из тела, потому что сквозь многих, очень, очень многих времен она чувствует тяжелый поворот этого колеса.

Кого-то снова принесли в жертву.

Я слушаю все это, и мне хочется побыстрее отвязаться. Не то чтобы я не любил наткаться на голоса и слушать их истории. Она говорит яростно, не останавливаясь, потому что хочет, чтобы кто-нибудь вспомнил – и вот, я, в уголке салона, как припозднившийся клиент, оказываюсь самым подходящим приемником.

Странно все устроено в том мире – почти такой же беспорядок, как и в этом. Те, кому полагается мирно лежать в семейных склепах, прогуливаются по улицам как ни в чем ни бывало. Те, кого помнит только песок, усаживаются рядом и начинают говорить, просто, как бездомный на скамейке в парке, или полубезумная женщина с тюками на автобусной остановке. Та, чьи слова не слышали, ни за что не уйдет, пока их наконец не скажет.

Ну а она – она просто попалась мне случайно, потому что я смотрел туда, где стояла спиной ко мне худая фигура, а другая, комковатая, копошилась у ее ног.

Я выхожу из салона, никем не замеченный, иду в сторону нашего дома. Зачем переселяться, спрашиваю я у голоса, хотя он и не летит за мной. Во-первых, куча работы. Будучи внутри, ты стиснут их собственным характером, и в этой шкуре быстро становится

жарко – ни туда, ни сюда. Во-вторых, почти наверняка досадно наблюдать, как весь твой вековой опыт летит в трубу, потому что они все равно, примерно как овцы, которые бросились с обрыва, совершают те же самые ошибки. И толку, если ты не можешь их удержать. И толку. В-третьих, одно расстройство. Я понимаю, что отпустить то, что произошло, нельзя, и поэтому голоса вроде этого все еще здесь, носятся, но не звучат.

И зачем она вселилась? Кому от этого стало лучше?

Я, сердито засунув руки в карманы, иду по направлению к дому. Я мечтаю навечно остаться в том моменте, когда одна моя нога уже поднялась от земли, а другая еще не опустилась. Это как лететь – не касаться того, кем ты был до, но и не войти в того, которым ты будешь. Шаг позволяет мне побыть подольше в этом моменте. В моменте, когда никакие голоса и никакие истории, включая мою собственную, меня не догнали. Момент, когда я могу позволить себе не помнить, кто я такой.

84.

Слов иногда так много, что мне надо уйти от слов. Когда я иду, они жужжат у меня в груди, переливаются, выстраиваются во фразы и снова пропадают – когда я ухожу, я всегда хочу выбросить одним движением, одной разматывающейся лентой что-то яростное. Чтобы хлестнуло по щеке, как бич, чтобы по ступенькам прыгало, как резиновый мяч. Я уже пробовал заталкивать слова, свои и чужие, внутрь, чем-нибудь их заливать, как кремом покрывают слегка подгоревший, но еще не успевший остыть пирог. Внутри него слов становится не слышно, и я могу просто шагать, кивать сам себе и на секунду, всего только на одну секунду в моей голове становится совсем пусто.

Потом слова снова начинаются – от них труднее избавиться, чем от белобородого или соседки с первого, или от комара, который в темноте все подлетает и подлетает совсем близко к лицу, садится на щеку, на веко, на ухо, и ты все бьешь и бьешь себя ладонью по физиономии, а он все не отстает.

Внутри меня роятся груды слов – и, когда я что-нибудь вспоминаю, их становится еще больше. Иногда я никак не могу найти нужное слово, а иногда я нашел нужное, но не решаюсь его произнести. Я редко думаю о том, как слова встанут рядом друг с другом – не встанут, так подровняю, носками в одну линию, желтой краской нарисованную на деревянном полу. Пока они все в одном облаке, пока я иду и мой взгляд устремлен вверх, всегда лучше вверх, чем вниз, они не могут меня достать – я окружен ими, я как в облаке пчел, которое никто не видит, но ни одна пчела меня не тронет – они просто будут лететь рядом, пока я не сяду и не стану смотреть на реку. Они не любят, когда я долго остаюсь на одном месте. Еще и поэтому я так много хожу.

85.

Моя злость колет и чешется, как аллергия, заставляет меня подпрыгивать на ходу и дотягиваться до коленки, до лопатки, чтобы хоть немного поскрести горящие там пятна. Город никогда не добирается так глубоко – не хватает протяженности, достаточного количества кварталов, которые все были бы построены в одну линию. Может быть, когда он отберет все, я останусь и без тела – чистое намерение, которое все еще летит над тротуаром, сгусток того, о чем я думал, пока шел. Но сейчас – мне приходится сворачивать, и мысль моя меняется, и ветер начинает дуть мне вбок, а не в спину, и я запахиваю покрепче куртку, и шагаю дальше – легкий, но не бестелесный.

Кто-то сказал мне – может, пассажир в автобусе, что идет с юга на север? Голос в церкви?

– А что будет, если избавиться и от твоих... прогулок. Если я скажу тебе, что ты больше не сможешь ходить?

Вдох – воздух вошел через раздутые ноздри в легкие и мигом вылетел, не успев дойти до солнечного сплетения, и мне пришлось жадно вдохнуть снова.

– Тогда можно считать, что меня больше нет.

Он медленно кивнул.

– Есть то, что нельзя рисковать отнимать у людей. Даже у таких, как ты. Это слишком большой кусок. Мяса и крови не хватит, чтобы нарастить еще. Ты просто держишься за что-то движущееся, а другие – за что-то статичное. За вещи, за голоса, за собственные иллюзии. Человеку надо за что-то держаться. Чего-то держаться. Вот и все.

86.

– Что-то вы поздно сегодня, – консьержка возникла у меня на пути, как поставленная куда не надо уличная тумба.

– Я всегда поздно. Так поздно, что иногда даже рано.

Я предпринял попытку обойти ее, но она не дала.

– Вас тут... девушка ждет.

Я крутанулся на месте.

– Девушка?

– Ну... – она замялась. – Женщина. Какая-то странная, по правде говоря. Я ей сказала на скамейке вон там посидеть. Вон она. Правда в темноте плохо видно.

Она показала в сторону темной кучи, которая примостилась на скамейке в дальней стороне двора.

– К себе таких пускать не хочу.

«К себе» – видимо, в каморку в десять метров, где она обычно сидела.

– Хотя я уже собиралась уходить, а вас нет, так что...

– Вы ей сказали, что я тут живу?

Она помотала головой.

– Ничего я ей не говорила. Она пришла. Описала вас.

– Спросила по имени?

– Нет. Описала просто, и говорит – я его подожду, можно мне тут посидеть. Я говорю посидите. Говорю, не знаю, он еще тут живет или нет, я не знаю. Я его не видела. Ну, – она наклонилась ко мне и понизила голос. – Чтобы ей намек, понимаете, не давать. Я ж не знаю, кто она такая.

И тут в ее глазах мелькнула мысль, что это может быть моя любовница. Я прямо видел, как она мелькнула – и пропала. Так, как будто мне показали эту внезапную догадку. Но, к ее чести, она почти не замедлилась, а продолжала говорить.

– А она смеется – можете себе представить? Смеется! И говорит, да живет он тут, живет, я его подожду. Я говорю, ждите, если хотите, я не знаю, живет он тут еще или...

Куча тем временем поднялась со скамейки и двинулась в нашу сторону.

– Здрасти. – сказала консьержка, когда она подошла совсем близко.

– Здрасти. – сказала куча. Обращалась она явно ко мне. – Хе. Хе. Есть у вас минутка?

Вот черт.

Неприятный, каркающий голос. Не старый и не молодой, но больше все-таки старый, потому что явно сел и охрип. Такой голос бывает у тех, кто давно прокурил все голосовые связки. Волосы длинные, черные и почти полностью закрывающие лицо, джинсы, недостаточно грязные для уличной попрошайки, но все-таки грязные. Куртка размера на три больше и огромная тряпка, похожая на плед, накинутая сверху. Ноги мускулистые. Я наклонился и вгляделся ей в лицо. Оно было чем-то вымазано – похоже на краску, но я все равно заметил на щеках золотистый глиттер.

В жизни черты у нее были не настолько вороньи, как на фото – видимо, она специально ослабилась. Хотела побольше досадить тому, кто снимал. Или меньше быть похожей на себя? Морщины от носа к уголкам рта были не такие глубокие, а овал лица при таком свете казался нежнее и более округлым. Только глаза были те же – сильно запавшие, очень темные, отчаянные. Отчаянные до такой степени, что это становилось опасным.

Я кивнул консьержке.

– Мы... отойдем. Тут, недалеко. Спасибо за помощь.

Та пожала плечами.

Я быстро прикинул, куда можно пойти, чтобы не подслушали. Выходило, что почти никуда, потому что тут повсюду квартиры, и кто-нибудь, не считая консьержки, что-нибудь да услышит.

Я крепко взял ее руку повыше локтя и потащил к выходу из нашего многострадального дома. Спиной я чувствовал взгляд консьержки.

– Зачем вы сюда пришли? – спросил я, когда я уже почти подтащил ее к дверям. Свободной рукой нажал на кнопку, которой они открывались. – Вам нельзя здесь находиться.

– Хе. – сказала она хрипло, и наклонилась ко мне. Пахнуло алкоголем, причем застарелым, дня так два. – А вы думали, вы один можете кого-то найти?

Я остановился. Я прямо-таки замер. Мы уже вышли на улицу, и идеально было бы посидеть в какой-нибудь машине или отойти туда, где нас никто не увидит, но таких мест тут поблизости не было.

– Вы тоже людей ищете?

По ней было непохоже, что ищет. Да и с работой в клубе это не очень вязалось. Но, может, искала в прошлом, или знала кого-то, кто искал?

Она усмехнулась еще раз.

– У меня есть связи.

Надо было шевелиться, поэтому я повел ее, не выпуская ее предплечье из своих пальцев, в сторону парковки. Она шла послушно, чуть покачиваясь, но с уверенностью человека, который привык уверенно обращаться со своим телом, и мышцы у него работают автоматически, даже если он пьян, под чем-то или наполовину спит.

– Вам нельзя, – сказал я. Мы почти дошли до парковки, где было – относительно, только относительно, всегда все относительно – безопасно. – Вам нельзя здесь быть. Вы что, не знаете?

– Я кулон забыла. – сказала она с сожалением. – Если за ним вернусь, они меня и накроют. Хе.

– Вам нельзя... – опять начал я. – Я-то вам зачем? Я только ищу. Вам не я нужен.

Она подняла глаза. Волосы с обеих сторон лица придавали ей сходство не то с утопленницей, не то с привидением, которое гуляло по старому замку уже до такой степени долго, что и ему это осточертело. Парик, решил я. Почти наверняка парик. Как и все накрученные поверх ее тренированного и крепкого тела тряпки.

– Я была как вы, – сказала она. – Почти как вы. Потом перестала. Стала... там работать. Стабильнее. А была как вы. Такая же.

– Да? – сказал я.

– Ага.

– И зачем вы пришли? Утащить меня с собой?

Она пожала плечом.

– Вас ведь уже предупреждали? И меня предупреждали.

– Откуда вы знаете, что меня пре... – я осекся.

Конечно, она знает. Что за глупые вопросы я задаю.

На парковке никого не было. Машины, темнота. Гладкий асфальт, блестящий после недавнего дождя.

Она стряхнула мою руку со своего рукава, уже куда менее пьяным и куда более резким движением. Будет драться, подумал я. Будет пытаться отомстить за то, что я хорошо выполняю задания. Или за то, что нашел бинт, пропитанный ее кровью, и ее кулон. В числе прочего.

Но ошибку допустила она. А не я. Поэтому меня и послали ее искать. Ошибку допустила она.

– Вы курите?

– Нет.

Она достала из-под куртки зажигалку и пачку сигарет. Поморщившись, вытащила одну, вставила в рот и закурила.

– Мм, – сказала она, затягиваясь в темноте. – А зря.

– Что вы хотите? – спросил я.

– Поговорить. – Ее сигарета мерцала в темноте. – Посоветоваться. Куда деться, чтобы меня не нашли.

– Я не знаю, куда.

– Ну да.

Ее лицо не было видно, только силуэт.

– Только если уезжать. И то. Надо быстро. Где вы были все это время, что не уезжали?

– Улаживала дела. – Она опять затянулась. И закашлялась. – К-хе. Я не могу уехать быстро. У меня тоже, как и у вас...

– Ти-хо.

Она замолкла.

– Поисковик из меня был средний, – сказала она равнодушно. – Я находила, потому что резвее тогда была. А у вас талант. Таких, как вы – мало.

Она глухо засмеялась.

– Штучный, что называется, товар.

Я и сам знал, что я штучный и что я товар, тоже, но слышать это от кого-то другого было неприятно.

– Но меня же вы нашли.

– Повезло.

– Приятель из клуба дал наводку, да?

Она даже не попыталась отпираться.

– Да.

Конечно. Сдал меня с потрохами, как только это стало можно. Или сразу же, как увидел.

– Вы должны знать, как мне выбраться. – сказала она, затягиваясь. – Вы должны мне подсказать.

– Должен? – спросил я у темноты. – Это я вам должен?

– Должен быть выход.

– Зачем вы им понадобились? – спросил я.

– Узнала кое-что, чего не должна была.

– Понятно. На работе?

– Через работу.

Это да. Через работу она много чего могла узнать, особенно учитывая то, что большинство девочек там, где она работает, еще и приторговывают. Когда у тебя много клиентов, чего только не узнаешь.

– Ну как? – спросила она, потому что я молчал.

– Что как?

– Есть мысли?

Мысли. Еще как есть мысли. Я бы даже сказал, что слишком много мыслей.

– Давайте обмен. – сказал я. – Я высказываю несколько предположений, вы отвечаете на мои несколько вопросов. И вам полезно, и мне полезно.

– Каких вопросов?

Я подумал.

– Кто на меня напал, например.

Она хрипло хихикнула в темноте.

– Вы думаете, я знаю? Это не у меня надо спрашивать. Это вам надо спуститься вниз и найти. И то. Вам скорее всего скажут только, что вы полезли на их территорию и получили, что заслужили.

Это я и так знал, так что вопрос пропал даром.

– Сколько? – спросил я.

– Что?

– Сколько у меня есть времени?

Она затянулась – почти задумчиво. В последний раз. Стряхнула пальцами пепел, оставив сигарету в сторону.

– Если задания у вас еще будут, то все неплохо. Недели еще может. Даже месяцы.

– А если нет?

– Дня три, и убирайтесь. Как можно быстрее. Исчезайте. Берегите их только. Они вряд ли... попадут под удар, но как знать.

Она выкинула сигарету.

– Давайте. Высказывайте свои предположения.

Я коротко вздохнул и стал высказывать.

Когда я высказал все, она кивнула.

– Вы ведь знаете, что у меня есть оружие? – спросила она.

– Знаю. – кивнул я. – Чувствую.

– И вы мне ничего не сказали?

– Против меня вы его не используете. – сказал я. – Во дворе рикошетит, тут слишком громко. И толком стрелять вы не умеете. Практики нет.

– А вы умеете? – спросила она.

– Сносно. Давно не приходилось.

– Идите. – сказала она. – Разворачивайтесь и идите. Они не засекут, мы говорили не очень долго. Может, вас и пронесет. Но если заданий не будет, исчезайте. И не вздумайте вступать с ними в переговоры. Ваша голова, конечно, ценная, но их они не пожалеют. Ясно вам?

– Да. – сказал я.

Мне было ясно.

87.

Я повернулся и зашагал обратно к дому.

Даже если она выстрелит мне в затылок, думал я, то это ей не поможет. Пуля застрянет в воздухе, застрянет в городе, застрянет во мне, и будет совершенно неважно, выстрелила она в меня или нет. Ведь дело не во мне. На самом-то деле дело не во мне.

Когда я вернулся, к моему удивлению, свет у консьержки еще горел.

– Вы что домой не уходите? – спросил я, заглянув к ней.

Она сидела и задумчиво смотрела прямо перед собой, подперев подбородок кулаком.

– Да вот думаю. Понимаете. Думаю.

– О чем думаете?

– Да о чем. Все уезжают. Вы не замечали? Почти все уехали.

– Так уж и все? – спросил я

– Из семьдесят второй уехали. С третьего этажа, пацан у которых, уехали. Хлыщ этот, невеста у которого, собираются уезжать. Как свадьбу сыграют. Ну или не свадьбу, какая теперь свадьба...

Она вздохнула.

– Наверное, и билеты уже купили.

Отца семейства с третьего я сам видел. Я сверху наблюдал, как он тащил свой чемодан по двору, потому что тот производил такой шум на каменной кладке, что слышно было не хуже тех вечеров, когда пара, которая раньше жила напротив соседки на первом, включала радио на полную громкость и оставляла открытым окно. Остальных не было видно, и он тащил чемодан один, и суетился, и запихивал его в такси, и костюм жал ему в подмышках, и лицо у него было красное и злое, потому что никто не вышел ему помочь, даже консьержка не помогла подержать дверь. Все только смотрели из окон – я увидел у стекол пару лиц.

Примерно в то же время испарилась жиличка, которая жила у громогласной дамы.

– Да она давно уж выехала. Приезжала сюда только вещи забрать. Хорошая девушка.

– А что тот? Которого мы с вами нашли?

– Ой, даже и не говорите. – она махнула рукой. – Из квартиры еле выходит. Еле на ногах держится. Я продукты ему у двери оставляю, в прошлый раз суп вот принесла, хоть бы поел чего...

– И как?

Она пожала плечами, по-прежнему смотря в пространство.

– Забрал вроде. Все поет. Все так же.

Интересно, там ли еще тот, у которого воеет собака, и тот, что с запонками в виде самолетов. Может быть. Хотя воя в последнее время не было, что могло означать все, что угодно – что собаку увезли, например. Или стали давать что-нибудь, от чего она спит весь день.

– Мне надо идти.

Она молча кивнула. Ничего не спросила про ту женщину, я заметил.

– Вы тоже идите. Не всю же ночь тут сидеть!

– Да. – она кивнула, все так же, не отрывая подбородок от руки. – Всю не буду.

Еще немного, и она что-то мне скажет. Или о чем-то меня спросит. Но и молчала и выглядела такой погруженной в свои мысли, что, казалось, меня и не замечала.

88.

Я аккуратно перешел двор.

То место, где он был – посередине – я, как всегда, обошел. Его все обходили, хоть контуров уже не было видно. Их хорошо оттерли. Не знаю, это консьержка постаралась или пришлось вызывать специальную службу, или дождь, снег и смена сезонов ничего от него не оставили. Я так и не выяснил, кстати, что произошло с его женой. Я только знал, что из госпиталя она так не вернулась. И я ни разу не видел, как в ту квартиру заходил, из чего я мог сделать вывод, что с того дня, как ее вынесли оттуда в последний раз, она так и стояла пустая. Где он теперь лежит? Они вместе теперь? Почему я об этом думаю? Аккуратно ставя носки ботинок, я обошел пятно.

В нем – этом невидимом круге на каменной кладке – как будто пересекались линии разных жизней, примерно как накладываются друг на друга кольца дорог. Где-то они лепятся рядом, почти вплотную, где-то уровни переходят друг в друга, и машины проплывают, одни сверху, другие снизу. В этом дворе сталкиваются люди, которые никак не должны столкнуться, как будто нарочно – а другие, наоборот, всегда оказываются на почтительном расстоянии, хотя вроде бы должны, просто должны друг на друга налететь. Получается ли так специально или линии сами путаются? Некоторые нитки намертво прилипают друг к другу, пропитываются кровью, которую отсюда всю уже смыло.

Информация. Вечно она валяется везде лоскутами, а потом приходится ее собирать и сшивать. Из той, что дала женщина на парковке, не было понятно вообще почти ничего. Только то, что я прошел на чью-то чужую территорию, искать то, чего мне явно не следовало искать. То, что в подвале, по сравнению с этим просто припрятанный стыдный секрет, но, если вытащить это на свет, не такой уж и интересный.

Пока шел, я думал – жаль, что шагов оставалось так мало, и времени подумать толком не было. Неплохой стратегией было бы выяснить, что там такое, а потом выменять знание об этом на нашу сохранность. Пока они меня не искали – в этом я был уверен. Я только сегодня, час назад, опустил в ящик белый плоский конверт. Я сказал ей все, что мог. Я шел по этой линии, ставя ботинки один впереди другого, как по канату. Кажется, я уже думал про канатоходца? Или нет?

89.

С определенного момента эта мысль – мысль о конце пути – начала меня преследовать. Она бежала за мной и увязывалась везде, куда бы я ни пришел. Я думал, что конец пути где-то внутри города, или в другом месте, где-то внизу; про наверху я не думал, это казалось мне смешным. Но у моих путей не было ни начала, ни конца – я только менял

стрелку, но поезд продолжал идти. Иногда я старался, как мог, сбросить скорость, тормозил, тормозил, и из-под колес бежали искры, и я хотел было передохнуть, но не мог – вся моя жизнь была бегом этого поезда, он трясся днем, трясся ночью, даже во сне я слышал дребезжание вагонов.

Когда я хожу, у меня немного пропадает это чувство, что я не могу остановиться, не могу пальцем притормозить картинку и подумать. Когда я хожу, то как будто бы выпадаю со своим поездом в резонанс, в синхрон, мы теперь оба бежим вперед, оба двигаемся. И на ходу мне легче.

Я очень плохо представлял себе конец пути. Меня это беспокоит – будет ли он похож на те станции, что уже были, или это только тоннель, чернота в окнах без конца? Они заберут меня? Что они со мной сделают? Или конец отличается только тем, что чернота будет всегда, вначале я буду думать, что это тоннель, а потом черным станет все – и снаружи, и внутри? Что будет, когда мозг отделится от тела? Что будет, когда мысли будут течь отдельно от боли? Что будет, когда голос внутри скажет назидательно – вот посмотри, во что ты влип, парень. Я же тебе говорил.

Часть седьмая. Наружу

90.

Вали, сказал мне внутренний голос. Беги. Я два раза предупреждать не буду.

Я не получал никаких записок, никаких писем или телеграмм. Но вот уже дня три новых заданий не было, и это значило... значило.

Иногда – по крайней мере в тех жизнях, которые я видел и за которыми наблюдал – бывает момент, когда герой выходит на передний край сцены, чтобы произнести свой монолог. На него падает луч света, а он стоит там один.

Никто не выходит на пятно рядом с ним. Ничья рука не протягивается из темноты и не ложится ему на плечо. Никто не предлагает ему стул. Он стоит там, на сцене, на подоконнике, окруженный пустотой, и думает – что мне делать? Он кружил, кружил, кружил между спальней и кухней, домом и работой, настенными часами, прикрепленными чуть криво, ремешком, который врезался ему в запястье, стеклянным циферблатом, прикрепленным к самой высокой башне. Он крутился в этих часах, а потом взял и застыл. Жил, жил, жил, а потом настало время для прыжка. Привычная рутина катилась и катилась, вела его вперед, а потом вдруг расступилась.

– Как думаешь, мы выберемся?

Она спросила это, не глядя на меня. Волосы падали ей на лицо, закрывали с двух сторон. Она только что уложила его в кровать, и он сразу же заснул – поймал сон, как ловят что-то, что летит в них, и сразу, сомкнув веки, обернулся им и довольно засопел. Сон обнял его с обеих сторон и забрал к себе. Иногда по ночам она подходила посмотреть, как он дышит. Иногда подходил я. Иногда я просыпался в панике и вдруг думал, а вдруг его нет в квартире, вдруг он куда-то исчез, вдруг я не смогу его отыскать, вдруг, пока я спал, и она спала, кто-то открыл ключом дверь и тихо прокрался на цыпочках, и теперь его нет. Я поднял голову от чемодана, в который укладывал вещи. Всего один чемодан. Больше нельзя.

- Выберемся.
- Мы успеем? – спросила она просто.
- Успеем.
- Не опоздаем? – больше утвердительно, чем вопросительно.
- Нет.
- Хорошо.

Я обнял ее – и мы покачались из стороны в сторону, как пара подростков, которые только что познакомилась на дискотеке и неловко прислоняются друг к другу – он не знает, куда деть руки, поэтому держит их почти на весу, стараясь не касаться ее спины.

– Я все боюсь, что времени не хватит.

Кожа у нее была очень холодная. Я обнял ее покрепче и прижал к себе. – Или именно нашему дому не повезет.

– У нашего дома склад драгоценностей внизу, – я улыбнулся, хотя теперь я даже улыбался как тень. Ходил как тень, собирался как тень, улыбался как тень. – Нашему дому повезет.

– А мне кажется, что наш дом это пороховая бочка.

– Ну...

Посылка хлыща и его крики, раскачивание белобородого у окна, то, что я забрал у консьержки запасные ключи от нашей квартиры, которые она, надо сказать, сильно не хотела отдавать, но все же отдала.

Кто-то воюет, высматривая жильцов в ночи. Кто-то воюет, стоя на подоконнике. Кто-то воюет, крадя чужие ценности и думая, что она заслуживает их больше. Кто-то воюет, забывая о прошлом. Кто-то воюет сам с собой. Кто-то старается не воевать, но в итоге все равно воюет. Кто-то.

91.

У меня и до этого были дни, когда заданий не было. Были даже целые недели. Рано или поздно они все равно приходили, белые конверты в слегка мокром ящике для книг в парке. Или они были заткнуты за водосточную трубу. Или подложены в разошедшиеся ступеньки лестницы у заднего входа в дом. Мне особо не важно было, где они были. Все равно найти их мог только я.

Но что-то странное было именно сейчас, в этом молчании. Если задания не приходят, значит, что-то поломалось в этой цепочке коммуникации. Либо с той стороны – заданий нет, либо с этой. То есть с моей. То есть они перестали мне доверять.

Может, дело в той женщине. Разговаривать с теми, кого я искал, в мои обязанности не входило, но я не знал, зачем искал, а следовательно, ничего рассказать ей не мог. Мы и говорили-то всего несколько минут.

Стрелки движутся назад, а не вперед, и время надо мной издевается – вот такое у меня было чувство. Оно специально то останавливается и замирает, заставляя себя ждать, переживать, выжидать, прикидывать, когда оно наконец опять понесется, то куда-то пропадает и ворует у меня целые часы и дни.

– Ну ты как, идешь?

Я иду.

92.

Путей, как сбежать из города, было несколько, и не один из них не был безопасным. Нас не то чтобы могли остановить – могли задержать, а задерживали сейчас всех и кого попало, особенно не разбираясь.

Можно было сделать это с воды, и я долго думал об этом, но в итоге все-таки выбрал в пользу большего расстояния. В смысле за минимальное время нам надо было покрыть максимальное расстояние между нами и городом, и не оказаться запертыми где-нибудь, где нас могли бы накрыть. А на воде все-таки был шанс, что нас бы догнал катер, и тогда деться нам было бы некуда. И потом, тех, кто рискнул бы отвести судно, торговое или рыболовное, за пределы пристани в ночи, было совсем мало, и по вполне внушительным причинам – это было строго запрещено. Найти того, кто мог бы нарушить запрет, было непросто. Хотя я и искал, и обходил пристань и доки рядом специально, долго шел по набережной и осматривал суда одно за другим, в поисках такого, которое могло бы нам подойти. Я не нашел. И чем больше я думал про воду, про то, как два белых следа расходятся в темноте, тем меньше эта идея мне нравилась.

Были еще, понятно, поезда и машины. Воздухом было закрыто, совсем невозможно, поэтому поезда и машины – я выбирал между первыми и вторыми, прикидывал, высчитывал, что лучше. Будь я один, я не выбрал бы ни то, ни другое – попытал бы какой-нибудь безумный способ вроде велосипеда, просто потому что велосипедистов в городе было завалилось, и никому не пришло бы в голову, что очередной велосипедист с портфелем на спине и в куртке от дождя, натянутой на голову, на самом деле совершает побег. Поэтому самое безумное могло бы и сработать.

Комбинация поезда и машины выглядела самым надежным вариантом. Сильно, очень сильно осложняло ситуацию то, что мы уезжали с ним, но по-другому было нельзя. Все дело было в камерах и кадрах. Удачность нашего побега зависела от камер и кадров и того, сколько длится дубль. Иногда наводишь камеру на человека, а он как будто не попадает в кадр. Как будто должен был бы попасть в объектив, но постоянно оттуда уходит. Или ставишь камеру там, где она ловит случайных прохожих, но фокус в том, что она делает фото с определенной регулярностью. И, если ты пройдешь в нужный момент, достаточно быстро, то только твой силуэт останется на фото, на тебя не успеют навести, ты не отпечатаешься на ней. И ты на ней не останешься.

Это то, что нам было нужно. Избежать кадра. Не остаться на камере. Быть между снимком в 2:43 и снимком в 2:46. Что-то вроде того.

Нам надо было не попасться сразу в нескольких смыслах.

И, что сказать, тут пригодилось, что я так хорошо знал город. Не попадаться на радары было в некотором смысле моей специализацией. Странно, какие навыки иногда приходится осваивать – кажется, они тебе нисколько не понадобятся, а потом оказывается, что только они и были тебе нужны. Навык крайней концентрации, например. Навык замечать, не куда едет автомобиль, а куда скользит мышь, когда перебегает тротуар и скрывается в щели между домами. Иногда то, куда делась мышь, заметить гораздо важнее.

93.

Я все еще думал про поезда и машины, и еще про то, как проскользнуть между кадрами, когда шел по мареву из дождя – огни поднимались и опадали, на тротуарах валялись груды тряпок, полуразлагающихся пакетов с едой, черные груды, спрыснутые дождем.

И тогда я вдруг подумал про церковь, где мы его крестили. Про ее высокие своды, про холодный камень. Я думал про нее, кем, когда и куда она была построена, куда – в небо или куда – вглубь, я имею в виду. Иногда мне кажется, что церкви построены куда-то вглубь города, вглубь себя.

А потом, среди мыслей про церковь, мне вдруг пришла одна – белая рыба в косяке черных, которые плыли и плыли теперь через мою голову.

Что можно просто попросить.

Попросить, и все. Четко сформулировать свое желание. Может быть, мне удастся вытянуть ту соломинку, которую я хочу вытянуть, а не короткую? Может быть, та сила, которая позволила мне стать поисковиком, та, которая уберегла меня тогда на чердаке, та, что не позволила задохнуться в подвале, та, которая постоянно охраняет меня, и ее, и его, та, которая разговаривает со мной в час ночи, та, которая ведет меня по темным улицам во время атак, та, которая никогда меня не подводила – она и выведет нас – из города?

Может быть, мне надо было только в один, последний раз ей поверить? Может быть, надо было подчиниться ей, потому что до этого я только надеялся на нее, и она никогда не подводила, но прямо я у нее ничего не просил?

Но у меня было очень важное желание. Самое важное.

И можно было попросить.

Можно, конечно, полагаться на себя или на город, и не тратить силы на то, чтобы тянуть из воздуха невидимые сети. И, если тянуть, если попросить очень сильно, не нарушит ли это какого-то невидимого, заведенного порядка, в котором нельзя просто так получить избавление? Получить то, что ты хочешь.

Мне вспомнились те, кто сидят на длинных скамьях, сложив руки на коленях, и смотрят вперед, и шевелят губами. Иногда я прищуриваю глаза и представляю, что над головой у каждого из них болтается табличка, где указано их желание, а снизу то, что они сами сделали, чтобы оно стало реальностью. И еще – что-то вроде силы, с которой они верят. Если сила большая, то табличка светится, а если небольшая, то мерцает, загорается и снова гаснет, вроде мигающей светодиодной лампы. Так, по крайней мере, было бы куда понятнее.

Мне пришлось опираться на чувство, которое лежит еще глубже, чем мое вечное желание идти – маленькое, притаившееся там чувство, спрятанное под тугой и вечно напряженной мышцей. Пришлось его выковыривать и скрестить пальцем. Оно совсем не росло, как бы я не старался – иногда появлялось, а иногда я сердился, что представляю такую ерунду, и заталкивал его обратно. Просить, как они все просят, со своими табличками и движениями губ – я что, такой же?

Я подумал о них – и подумал о том, ярко ли горит моя лампочка, или только мигает, как бы лениво давая знать, что я чего-то хочу. Вывеска у придорожного кафе, которое работает всю ночь. Дрянной кофе льется в высокие белые кружки, на блюдечки ложатся жирные треугольные куски торта. Бекон немного пригорел и не шкворчит, а недовольно шипит, когда его перекладывают с противня на тарелку.

Что может предложить это мое ночное кафе? Что я сам могу предложить?

Мусор украшал улицы разноцветными гирляндами, и город мне не отвечал. Я осторожно обходил использованные хлопушки, куски ткани, свернутые в комья, почерневшую банановую кожуру, бумагу от содранных рекламных плакатов. Притягивать желаемое из воздуха оказалось не просто.

Надо было начать представлять раньше, чем оно придет. Представлять себе весь план в мельчайших деталях, и, как игрок в шахматы, проверять их ход за ходом – каждый шаг, каждый метр, все, что может пойти не так.

Хуже было то, что поначалу я представлял себе не только лодки, машины, поезда и велосипед, а еще, другое, целый каталог путей, которые все неслись и неслись у меня в мозгу – автобус, такси, пешком, несколько способов транспорта, под чужими именами, договориться с кем-то, но получить ли? В этом и плюс и минус моей профессии – я всегда находил путь, но только для себя одного. Я пробовал свою схему шаг за шагом, находил дыру – проваливался в люк, возвращался назад. Пробовал следующую – опять. Нога ступает в пустое пространство, нас могут поймать, остановить, спросить документы – возвращался назад.

Вперед. Назад. Вперед. Назад.

Идеальная комбинация была где-то, точно была, в поле вероятностей, вверху, где вечно никого нет. Она плавала где-то там, в эфире, и мне никак не удавалось ее схватить – каждый раз я ловил и вытаскивал не то. Не то, не то.

Наверное, где-то упаковывают и ее сейчас. Идеальную, готовую схему побега. То решение, которое мне так нужно. Ту удачу, которая мне так нужна. Тот момент, что между 2:43 и 2:46.

Закрепляют крест-накрест желтым скотчем. Прокатывают по специальным рельсам. Ставят специальные галочки в специальных графах. Она скоро покинет фабрику, за вереницей других, таких же блестящих идей – они по очереди подъезжают к краю и вываливаются прямо наружу.

94.

В итоге я попросил. Я знал, что помощь придет – не знаю, почему, и не знаю, откуда, но, видимо, я так привык доверять своему чувству направления, что просто послал этот сигнал – вышел в наш двор один раз вечером – звезды были четко видны на небе, ночь была пустая и звездная, и во дворе никого не было, и я посмотрел, и я вспомнил о том, самом первом вечере, когда я зашел к нему в квартиру, и стоял у него за плечом. Том вечере, с которого все началось. И я смотрел на звезды и не задавал вопросов. Я просто пожелал. Яркая вспышка. Сигнал вверх. Взлетание против гравитации. Падающая звезда. И я проснулся в три утра. Сразу со всем планом в голове, от начала и до конца. Оно сработало, и я даже не удивился. Я просто скосил глаза на темное небо за занавесками – поблагодарю, когда мы отсюда выберемся, ладно? Скажу спасибо и даже подарю тебе цветы, если хочешь. Подарю тебе что угодно. Хотя я уже подарил тебе часть себя, или даже себя всего? Так или иначе, у тебя есть часть меня, и всегда была. А сейчас – только бы мы выбрались. Только бы.

Наши чемоданы были уже собраны, поэтому долго думать не пришлось. Проблема была в том, что уезжать надо было прямо сейчас – что-то говорило мне, что уезжать надо прямо сейчас. Я разбудил ее. Она проснулась очень быстро – мгновенно, ее блестящие в темноте глаза уже смотрели на меня.

– Что? Кто-то... пришел?

– Еще нет, – сказал я. – Но надо ехать.

– Прямо сейчас?!

– Да. Слушай меня.

Я объяснил ей, что надо делать и где мы встретимся. Его я взять не мог, учитывая то, что мне предстояло сделать.

– Прощаться не будем, – сказал я ей быстро. – Встретимся через полчаса. Ты все поняла?

– Я поняла. – она кивнула.

– Его лучше привяжи к себе чем-нибудь. В слинг или еще куда-то.

– Я соображу. Иди. Я почему-то подумал, что она так давно не говорила мне этого одного короткого слова. «Иди».

95.

Я заранее приметил и улицу, и машину, и способ – я знал, что она всегда там стояла, и знал, что марка достаточно популярная, чтобы она не привлекала к нам внимания. Я не очень умел это делать, но владелец, сам того не зная, мне помог – там было открыто окно. Только чуть открыто, с самого верха, но этого мне было достаточно.

Ключи мне были не нужны, и уже секунд через сорок мотор заурчал, и я вывел машину со стоянки и повел в сторону нашего дома.

В ней почти не было личных вещей – прекрасно. Только перчатки и солнечные очки, и рекламный проспект, рекламирующий отель у моря. На обороте проспекта был номер телефона.

– Садись.

Она стояла на углу, вжавшись в стену ровно так, как я ей сказал, чтобы не попасть в камеру.

Она села. Я на переднем сиденье, они вдвоем на заднем.

Пока мы ехали, я думал. Я мог бы думать о городе и о том, что сейчас происходит – мы отсюда уезжаем. Но эта мысль не укладывалась, не отпечатывалась у меня внутри, и город с его ночными улицами скользил и скользил мимо меня. Я мог бы думать о дороге впереди – я знал, наперед продумывал маршрут. Я знал, где можно проехать мимо заброшенного поста, где между домами, а где надо ехать круглым путем. Я знал задворки города, север, почти всю его изнанку, но машина все равно шла как будто сама собой – я только чуть-чуть трогал ее, а больше было не надо.

Нам никто не попался по пути – одни фары, вторые, но была такая глубокая ночь, что они промелькнули и пропали, и мы даже не успели разглядеть марку, а тем более номер. Тот час ночи, когда спят даже те, у кого бессонница. Тот час ночи, когда даже ночные сторожа дремлют, прикрыв глаза рукой.

Страх за свою жизнь обнажает тебя до существа. Убирает все то, что ты так настойчиво пытался присвоить, все то, что ты так настойчиво пытался к себе приклеить. На лоб, к рукам, к спине. Но все равно остается только хребет, линия жизни, линия позвоночника, снизу вверх – внутри тебя. Остается только подступающий холодный воздух. И боль. Или и боли нет?

Почему я думаю, не страшно ли умирать? Я же веду машину. По пустому ночному городу, и довольно быстро, но не так, чтобы превышать скоростной лимит. Почему я об этом думаю? Я одернул себя и вернул обратно в сознание, вставил обратно, как в рамку.

– Скоро приедем? – спросила она с заднего сиденья.
– Да. – сказал я. – Минут двадцать еще. Мы встретились глазами в зеркале. Она кивнула – медленно, как в замедленной съемке.

96.

Мест, где можно было перейти границу, было несколько. Везде были пограничные пункты, это понятно, но был один, где нам бы не задали слишком много вопросов, и где не надо было бы часами сидеть и ждать, пока нас пропустят. И где даже в такое время не было бы сотен людей – сколько из них просачивались на ту сторону, а сколько возвращались?

Если ты останешься тут, то твою душу в конце концов выдоят до конца, подумал я, выбираясь из машины. Вся радость уйдет из нее, как вода из высыхающего фрукта. Останется только масса, материя, комок мышц.

Машины я оставил так, чтобы ее не было видно. Я наклонился проверить, не осталось ли в ней следов или отпечатков, или пятен, по которым могли бы сказать, кто именно ей попользовался. Мысль толкнула меня в лопатку – расставание, с человеком ли, городом или старым собой – всегда сумерки. Впереди ночь.

Никто другой этого не знает, но знаете вы двое, те, кто расстаются – впереди ночь. И вам обоим предстоит пройти через нее в разные стороны, отдельно друг от друга. Идти надо будет одним, но поначалу вы постоянно будете знать, что та, другая сторона тоже идет, там, в тумане, как на другом берегу волшебной реки. Вы будете почти чувствовать ее движение. И чем дальше вы удаляетесь, тем меньше.

По другую сторону ночи вас ждет что-то другое. И когда вы выйдете наружу, туман оставит след на вашей коже. Но ночь – эту ночь – надо еще пережить. И непонятно, что хуже – знание о том, что ночь впереди, или необходимость через эту самую ночь пройти, не оставив в ней следов.

– Пошли, – сказал я. И подал ей руку.

97.

Стоять в очереди все-таки пришлось.

– У вас ребенок? – спросила женщина на входе, как будто на груди в слинге могло бы быть что-то другое.

– Да.

– Сколько ему?

Она назвала возраст.

– И к кому вы едете?

Я сказал.

– На сколько?

Я сказал.

– А документы у вас есть? – спросила женщина.

– Конечно. Все в наличии.

Она взглянула на документы – не читая, только посмотрела – и вид у нее стал скучающий.

– Проходите. – она кивнула в сторону стеклянной будочки в дальнем конце зала. Я видел там очередь, но совсем небольшую – всего два или три человека.

Страх собирается в больших количествах, как ядовитый газ. Я подумал это, пока мы шли к очереди – я с одним маленьким чемоданом, который она вынесла и я засунул в

багажник, а она с ним, надежно дремлющим у нее на груди. Мы шли не очень быстро и не очень медленно.

Мы подошли к окну все втроем. За нами теперь никого не было.

Дядька за стеклом взял документы, которые я ему протянул.

– Пока не удастся войти вас в системе. – сказал дядька. Он вглядывался в экран и хмурился. – Но по ночам у нас бывают перебои. Боюсь, вам придется подождать.

Спиной и почувствовал, как она напряглась всем телом.

– Поищите еще раз. Он поднял на меня глаза. Глаза были водянистые, рыбы, почти ничего не выражающие, кроме усталости. Аптечная склянка. Корвалол. Обезболивающие.

– Поищите ее раз. – повторил я.

Он кивнул, и пальцами снова набрал что-то на клавиатуре.

Я на секунду закрыл глаза. Всего на одну секунду. Ну пожалуйста. Пожалуйста.

– У нас ребенок. – сказала она из-за моего локтя. – Может, вы нас пропустите? У нас все-таки ребенок. Ему еще и года нет.

Дядечка только потряс головой, и продолжил вглядываться в экран.

Столько лет работы. Столько найденных людей. Столько моего труда и моих стертых ног. Столько его рыданий и ее слез. Столько шагов. Столько окон. Столько дней.

Некоторые сами делают свой шаг вперед.

Некоторым не позволяют его сделать.

– Я не могу вас найти.

В скольких системах я не находился, интересно? И в скольких системах находился? И скольким системам от этого было лучше?

Я чувствовал, как мелко дрожит ее плечо. Я скосил глаза. За ней никого не было, только вдалеке компания из трех женщин с огромными чемоданами обступила ту, что задавала вопросы на входе.

– У тебя бумажка есть? – спросил я ее вполголоса.

– Какая бумажка?

– Какая-нибудь. Любая.

– Да.

Она выудила из кармана куртки исток, сложенный вчетверо, и показала подбородком на ручку, лежащую около окна, в котором дядечка все еще всматривался в свой экран.

Тон у него изменился.

– Возможно, надо кое-что проверить, господин... эээ...

Я всмотрелся в него. Я достаточно хорошо уже его разглядел, но все равно всмотрелся хорошенько. Когда тебе нужна информация, надо всматриваться в людей. Потому что надо отличать то, что тебе про них кажется, от того, что они никогда не скажут.

Я взял ручку, развернул бумажку и стал писать. Первой строчкой написал имя. Второй строчкой несколько слов – слова были длинные и сложносочиненные, но рука у меня не дрожала. Третьей и четвертой строчкой я написал, что предлагаю. Пятой, что за это хочу.

Подумал и приписал адрес. Обычный городской адрес – индекс, город, улица, дом, и квартира. Адрес я приписал на всякий случай. Имени должно было хватить.

– У меня есть дополнительные документы.

Я сложил бумажку вдвое и пододвинул ее в прорезь между стеклом. Она вздрогнула за моей спиной.

– Что это такое? Что ты делаешь?

Она прошептал это так тихо, что он не услышал.

– Что это такое?

Он взял листок двумя пальцами и развернул. Прочитал первые две строчки. И замер.

Спина у него резко распрямилась и выгнулась под рубашкой, как будто кто-то ударил его железной дубинкой по пояснице. Шея резко стала длиннее и почти вся показалась из выглаженного, но уже успевшего смяться воротничка.

Секунд десять мы смотрели друг на друга через стекло.

Потом он опустил глаза обратно на бумагу и еще раз пробежал ее глазами.

Дрожащими пальцами – я видел – он сложил ее, положил в прорезь под стеклом и подвинул к мне.

Наши документы, которые все еще лежали перед ним на столе, он закрыл, и теперь смотрел на обложки. Не задумчиво, а как бы даже тупо – как человек, который застыл на месте и не замечает ничего вокруг.

Потом – внезапно – он вскинул голову.

– Подождите с ребенком вон там. На стульях. – он кивнул ей на белые железные стулья у стены. – А вы – пройдите со мной.

Она коснулась рукой моей руки – повыше локтя.

– Подождите. – сказал я. – В туалет сходите. Вон он, белая дверь. Иди.

– Но...

– Иди.

Она медленно – очень медленно – развернулась и пошла.

Я обвел глазами зал. Очереди по-прежнему не было. Три женщины с чемоданами все еще препирались с той, что на входе.

– Пойдемте. – сказал он из-за стекла.

Я обернулся. Он смотрел на меня все теми же рыбьими глазами, но только теперь что-то острое появилось в них. Теперь они стали больше блестеть – как металлический отблеск в глубине воды.

– Чемодан берете с собой.

98.

– Как вы узнали? – спросил он без предисловий.

Мы оказались в комнатке – такой маленькой, что с двумя стульями и большим столом, который был туда втиснут, сложно было развернуться.

Я прислонился спиной к стене.

– Так вы согласны или нет?

– Откуда вы узнали? – спросил он опять.

– Да какая разница. – я пожал плечами.

– Я мог бы сдать вас прямо там.

– Да. – согласился я.

– Повезло вам, что очереди не было.

– Да. – опять согласился я.

– И что у нас не все... – он замялся. – Камеры работают.

И видеозаписи никто не просматривает, добавил я про себя. Но это уже не называется словом “повезло”. Это называется другим словом.

– Так откуда вы узнали? – спросил он опять. – Отвечайте, времени мало.

– Давно она заболела? – спросил я вместо этого.

Он посмотрел на меня так, как будто хотел сжечь.

– Несколько месяцев. – голос такой тихий, что почти как шелест.

– Состояние плохое?

– Да. На лбу у него выступили капельки пота.

– Почему лекарства не можете найти... официальным способом? Ей должны полагаться.

– Не выписывают. – он помотал головой. – Или выписывают, а потом их нет. Уже нет. Все кончились. А новых не завозят.

Он облизнул губы.

– Нигде не достать. Нигде... их нет. Ни по договоренности, нигде.

– Я знаю, где есть. Я вам несколько вариантов дам. Адреса, людей. Как достать. За день-два можно все получить, что вам нужно.

– А откуда я знаю, что вы не врете? – он коротко посмотрел на меня, потом уставился в стол, опершись на него обеими руками.

– Я же написал вам. Ее имя. Диагноз. Ваш домашний адрес. Думаете, стал бы я врать?

Он жевал нижнюю губу и не смотрел на меня.

– И вы хотите, чтобы я вас пропустил?

– Да.

– Без отметки?

Я пожал плечами.

– Можете записать, как будто отметка есть. Потом скажете, что система дала сбой.

– Это противозаконно. – пробормотал он.

– Можете записать без отметки, как будто нас тут вообще не было. Если спросят, такие границу не проходили. Ваше слово против ее.

Я имел в виду ту женщину, которая задавала нам вопросы. Но он и так это знал. Но – и тут мне снова повезло – у меня были основания предполагать, что та женщина его поддержит.

Он повел головой – справа налево.

– Это вообще ваши документы? – спросил он внезапно. – По которым вы едете. Ваши паспорта?

– Вас это волнует? – спросил я.

Он опять пожевал нижнюю губу. Потом поднес руку ко рту, как будто собирался погрызть ногти, но тут же резко отдернул, и опять уперся в стол.

– Из-за вас я могу потерять работу.

– Но она будет жива. Если вы лекарства найдете. Вам же нужны лекарства.

Мы молчали. Он молчал, и я молчал. Секунд десять. Двадцать.

– Диктуйте. – сказал он в конце концов.

– Вы нас пропустите?

– Диктуйте. Говорите. Где их взять?

Я прикрыл глаза, чтобы было легче сосредоточиться. Комната все же была очень маленькая, и дышать в этих крашенных стенах было непросто.

Я говорил быстро, но не так, чтобы он не успел запомнить. Я знал три потенциальных источника – препарат было редкий, и в городе его было действительно мало, даже у тех, у кого он был, он был в дефиците, но я был почти уверен, что с двумя из трех можно было договориться. На крайний случай. Как будто бывают другие случаи.

Крайний – значит стоящий ближе всего к бездне.

Я говорил недолго. Минуты две. Вопросов он не задавал.

Только один раз сказал:

– А... дорого?

Я назвал цену у всех трех. Сказал, кто скорее всего согласится.

Он коротко кивнул. Не так дорого, чтобы он не мог себе это позволить.

– Нам надо выходить. – сказал он, когда я закрыл рот. – Держите ваши документы.

– И?

– Подойдите к окну снова, когда очереди не будет. Если уже нет, подходите сразу. Быстро. Как только выйдете, сразу же убирайтесь как можно дальше от границы. Машина... – он назвал номер. – На стоянке самая дальняя. Чем дальше вы будете, тем лучше. Ясно?

– Ясно, – сказал я. – И еще.

– Да?

– Я оставил свою машину. В лесу. Тут рядом.

Он нахмурился.

– Где?

Я сказал, где.

– Я понял.

Он коротко кивнул и вышел, не притворив за собой дверь.

99.

Она сидела и ждала меня на железных стульях. Он тоже смотрел на меня, и глаза у него были открыты – невозможно огромные любопытные глаза. Она вынула его из слинга, прижимала к груди и качала – туда-сюда, туда-сюда.

– Баю баю, баю баю.

– Ну как?

Лицо у нее было бело-серое, с серыми тенями под глазами и на висках. Куртка свисала с плеч, молния расстегнута наполовину. Джинсы собрались морщинами на коленках.

– Пошли. – сказал я. – Быстрее.

И снова мы были у окна одни.

Он забрал у нас документы. Посмотрел в мерцающий экран. Поклацал клавишами. Взял печать. Опустил печать. Отдал документы обратно с обычным, скучающим видом. Обычный сотрудник, которому по долгу службы приходится не спать по ночам.

– Проходите.

Мы прошли.

Я взял ее за руку, чемодан был в другой. Мы вышли из здания, открыли двери на улицу и оказались в темноте, освещаемой всего одним фонарем – парковка, где стояло штук шесть машин.

– Пошли. Не останавливайся, – сказал я и направился к самой дальней, вишневого цвета.

– Но как...

– Пошли.

Три минуты спустя мы уже неслись вперед по абсолютно черной дороге. По две стороны от нее высились деревья, не очень густая лесополоса – снега не было, и видно было голую холодную землю, на которой только-только показалась трава.

– Какой час?

Она сказала.

Ночь еще не прошла, но надо было выжимать на полную.

Я посмотрел, сколько осталось бензина. Не полный бак, но нам хватит. Времени останавливаться и заправляться нет.

– Как ты это сделал? – спросила на.

– Что?

– Его. Убедил. Как ты его убедил?

– Предложил ему кое-то, от чего он не мог отказаться.

– Что?

Я не ответил.

– Ты шпион? – спросила она вдруг. – Ты работал шпионом? И поэтому мы не находились у него в системе?

– Я работал поисковиком, – сказал я.

– Что значит поисковиком?

– Это значит, что я искал людей, которых мне поручали искать. Мне приходили задания, кого надо было найти, и я их искал.

– Как приходили? К нам домой ничего не...

– Не к нам домой.

– И с этими людьми... – спросила она. – Когда ты их ... находил. С ними что-то... делали? Тебе самому... надо было с ними разговаривать?

– Нет. Не самому. Я только искал. А делали или нет, не знаю, – сказал я.

– Не знаешь?

– Не знаю.

Я еще прибавил скорость. У меня было странное ощущение – глупое, но странно реальное – что весь город сейчас гонится за мной, за нами, как гигантский воздушный демон. Как чудовище в мультике, которое вдруг заполняет собой весь экран, а мы по сравнению с ним очень маленькие. Как путники, за которыми летит песчаная буря, как лодка, вдали от которой движется цунами.

Как будто все то, что я видел в городе, все то, чем он был для меня, все, что я любил, теперь летит и гонится за мной, за этой машиной, которая уже начала дрожать от скорости, на которой она очевидно никогда не шла раньше.

– А что, если машину отследят? – спросила она. – Ту или... эту.

– Не отследят. Это его машина, – сказал я.

– Кого – его?

– Того пограничника.

– А... – она осеклась.

– Он ничего не скажет. Никому ничего не скажет. А сильно прессовать его вряд ли будут. Нас там не было.

– А... камеры?

– Не было. Они не все работают, а на тех, что есть, нас нет.

– А женщина?

Я поморщился.

– Он ее убедит ничего не говорить.

– Почему?

Я только покачал головой в темноте.

– Надо доехать до утра. Потом найти, где оставить машину. И ехать дальше. Но это не проблема. Я найду. Главное, чтобы нас не догнали по дороге.

Он вдруг проснулся и издал резкое «уууууу!», которое так же резко захлебнулось в воздухе.

– Я думала, не получится, – сказала она. – Я думала, что это все.

– С тобой бы ничего не случилось, – сказал я зачем-то. – Ты ничего не знаешь. Не знала.

– А теперь знаю? – спросила она.

– Ууууу, – он снова подал голос.

Ууу, подумал я. Город, все мои сны и все мои мечты, несется за нами. Завывание ветра. Пустота в боковом зеркале, и в зеркале заднего вида тоже. Вот уж точно – ууу.

Надо прибавить скорость.

100.

Мы приехали, когда только-только наступил рассвет.

Этот город был не похож на тот – чистые улочки, совсем узкие и почти безлюдные. Общая сонность, которая никак не передавалась нам. Открытых магазинов тут почти не было, да и открытых окон пока что тоже – было слишком рано.

– Надо переодеться, – сказал я. – Надень что-нибудь другое. И кепку. Шапку. Что-нибудь.

– Зачем?

– На всякий случай. У тебя же есть смена одежды?

Она смотрела на меня с удивлением.

– Ну да. Конечно есть.

– И вещи где-то придется оставить.

Теперь уже в ее взгляде была паника.

– В смысле оставить вещи? Ехать просто так? Без ничего? Мы уже оставили квартиру. Еще и вещи?

– Да, – согласился я. – И вещи тоже.

– Зачем?

Я объяснил, и она недоверчиво покачала головой. Пока она рылась в чемодане в поисках других джинсов, футболки и кофты, я подумал про ключи. Ключи были не важны – зачем ключи от того места, куда никогда не вернешься? Но мне все равно хотелось их выкинуть. Пусть даже символически. Опустить их в почтовый ящик, в мусорный бак, бросить в решетчатый люк посреди мостовой. Попрощаться с прошлым, чтобы не остаться в нем.

Я подумал и достал из бокового отделения чемодана конверт. Пустой белый конверт, такой же, в каких я получал задания.

Я вложил туда ключи. Марка уже была. Заклеил. Написал адрес.

– Кому это ты их отправляешь?

– Консьержке, – сказал я. – С приветом.

– Заберет себе всю мою посуду, – сказала она.
– С медвежатами.
– Зато будет беречь.
– Думаешь?
– Да. Она любит красивые вещи.
Я улыбнулся одним уголком рта.

– Почему ты никогда не говорил мне ничего? – спросила она, переодевшись и натянув шапку на голову.

– Нельзя было говорить. Опасно.

– А теперь ты почему начал?

Я развернулся, и резко крутанул ее к себе за плечи и поцеловал ее.

Я так давно не целовал ее нормально. Не целовал ее вообще. Целовал, конечно, по ночам и по утрам, когда уходил, но давно не целовал ее посреди дня, с целью, с намерением. Давно не целовал ее поцелуями, в которые что-то вложено.

– Я тебя люблю, – сказал я. – Все почти закончилось. И я тебя люблю.

Больше, чем город, подумал я про себя. Хотя я любил город больше, чем себе можно было вообразить, любил так, что никогда не уставал от него. Любил верх и низ, любил балконы и пролеты, любил уличный гул и красные флаги, любил крыс и мышей, любил грязь и достоинство, любил слезы, которые выступали на его лице после черных ночей. Любил метро, которое всегда приходит вовремя, даже когда останавливается вся ветка – а потом, как кровь, опять начинает по венам бежать. Я любил все это так, что это стало мной, и я стал им, и в городе теперь больше меня, чем во мне самом. А во мне теперь должно начаться что-то новое.

Хотя аромат города все еще у меня на коже – после последней ночи, проведенной вместе.

– Далеко тут вокзал?

– Минут тридцать пешком.

– Это далеко, – пожаловалась она.

– Дойдем. Не волнуйся. Сейчас на улицах-то еще никого нет.

Держась за руки, мы дошли до вокзала. Все было таким четким вокруг, таким светлым и резким, как качающийся воздух над костром, и я все видел все это как через дрожащую прозрачную массу.

Вокзал был совсем небольшим – табло с объявлениями на первом этаже, там же касса, где дремала, положил голову на руку и закрыв глаза, билетерша. Белые волосы падали ей на глаза. С первого взгляда она мне не очень понравилась.

– Подожди на втором этаже, ладно? На стульях. Вон, там лестница.

– Ладно, – она выпустила мою руку и стала медленно подниматься вверх.

Минут десять – и я поймал какого-то паренька, который торопился, схватившись за лямку своего рюкзака, мимо вокзала.

– Эй! Эй!

Он остановился. Быстро, насколько мог, я объяснил, чего хочу, и почти силой всунул ему в руку деньги. Я знал, что он не откажется, но он все равно посмотрел на меня с изумлением:

– А сами-то почему не можете взять?!

– Не могу, – сказал я. – Возьми, что останется – себе оставишь.

– Ладно. – он все еще хмурился. – Ладно.

Ровно через три минуты он вернулся с билетами.

– Спасибо! – сказал я.

Он пожал плечами, надвинул кепку пониже на лоб, дернул за лямку своего рюкзака и пошагал дальше.

– Что ты так долго? – спросила она, когда я, наконец, поднялся вверх – хорошо, что лестницу не было видно из окошка кассы – и сел рядом с ней.

– Меры предосторожности. – сказал я.

– Какие? Тут такой маленький вокзал, что никого не бывает.

– Как подойдет поезд, будут.

– А скоро подойдет? – она зевнула. Он безмятежно спал у нее на груди.

– Скоро. – сказал я. – Меньше часа. Можно даже взять булку с сосиской.

– О! – она оживилась. – И ты возьмешь?

– Уже.

Я нагнулся, вынул из рюкзака пакет, полиэтиленовый и еще горячий, и передал ей.

– Ты лучший мужчина на свете.

Она откусила от булки и, пока жевала, закрыла глаза.

– Ага.

– Делиться не буду.

– Да и не надо, – я улыбнулся. – У меня еще две есть.

Я жевал булку и думал. Никто не знает нас здесь. На вокзале почти никого не было – пассажиры входили, уходили, приходили. Там, где мы сидели, нас не было видно заходящим в вокзал.

– Теперь ты мне все расскажешь? – спросила она, жуя.

– Что именно?

– На кого ты работал. Что вы делали. Где они находились. Сколько там людей.

– «Мы» – я выделил это слово, – ничего не делали. Не было никаких «нас». Я всегда работал один. И... у них есть название, но это не настоящее название. Как вывеска. Фальшивое.

– И что ты про них знаешь?

– Много чего. Это длинная история.

Подумал и поправился:

– Отдельная. Отдельная история.

– От чего?

– От нас с тобой. Как-нибудь тебе расскажу, если захочешь знать.

– А почему не сейчас?

Ее тяжелая голова лежала у меня на плече.

– Длинно, – сказал я. – Сил нет. Все еще и начинается тогда, когда я тебя еще не встретил.

– Так давно? – спросила она. – Столько лет?

– Да, – я старался не двигать головой и плечом, чтобы она не соскользнула. – Они вначале к тебе присматриваются. Потом только... выходят на контакт. Если можно так сказать.

– И у тебя был... как это называется... связной?

– Когда-то был, – сказал я.

Я подумал про скелетообразную фигуру с длинной белой бородой, раскачивающуюся у окна. Подумал про консержку, с ее передником и руками. Подумал про желтую кожу и обеспокоенные глаза. Про кулон на тонкой шее. Про белое платье в луче фонаря. Про другое белое платье, неаккуратно подоткнутое булавками по всему подолу. Про запонки в виде самолетиков и начищенные ботинки. Про стертые ступеньки лестницы. Про собачий вой.

Потом думать стало больно, и я перестал.

– Был. Потом не было. Потом связанных отменили.

– Это все очень интересно, – она зевнула. – Правда. Интересно. Только я очень спать хочу. И чем больше ты говоришь, тем неправдоподобнее это кажется. Это точно все было?

– Я сам не знаю. – сказал я. – Ты спи. Пока поезд не подошел. Пока можно.

– Спать?

– Да.

Она кивнула, не отрывая голову от моего плеча.

Я так много не смогу ей рассказать – и не потому, что не хочу, и не потому, что она не поверит. И даже не потому, что я научился забывать и прогонять страшные воспоминания все дальше по конвейеру, чтобы они не возвращались ко мне жить. О нет. А просто потому, что когда придет поезд, это станет неважно. Новые события будут накладываться и накладываться, как карты в колоде, и к тому моменту, когда мы зайдем в поезд, это перестанет иметь значение. Только бы поезд пришел по расписанию. Только бы он пришел.

Я поглядел на часы под крышей вокзала. Оставалось немного.

101.

Очень скоро в нашей квартире будут жить люди, которые про нас, нас с ней, никогда и не слышали. И не услышат. Они поменяют планировку, переставят мебель, переклеят в конце концов обои в местах, где те отвалились. Ничего от нас не останется, кроме вида из окна, и подоконника, на который она клала руку и ставила чашку, и воркования голубей, которое я иногда слышал по ночам. Ничего не остается – даже ложки, даже шпильки. Даже самой маленькой иголки, которая завалилась между досками паркета, потому что старый, разохшийся паркет, по которому так звучно стучат ее каблуки, они тоже перестелят.

Ничего не останется.

Я прямо видел это, видел так, как будто это происходит на самом деле – я вернулся в квартиру на рассвете, и стою на том же самом месте, из которого сделал первый шаг вниз, и занес уже палец, чтобы нажать кнопку звонка – но вдруг понял, что это другой дом, другая дверь, другие люди там, внутри. Что жизнь, которую я когда-то жил, и комната, где я проснулся только вчера, уже не существует.

Дверь мне открывает незнакомая женщина, и откидывает со лба крашенные волосы, и хмурится, глядя мне в лицо.

– Что вам нужно? – спросит она хрипло, и за спиной я вижу наш коридор, только стены у него теперь окрашены в другой цвет, а там, где раньше была дверь в его комнату, висит красная бахрома. Пахнет горелым хлебом и кофе из пакетика.

Мой первый инстинкт – пройти мимо нее, потеснив плечом, в нашу комнату. Но крашенная стоит в дверях и смотрит на меня все с той же враждебностью, и за ее спиной из комнаты доносится писклявый, высокий детский вопль.

– Я... – начинаю что-то говорить, но она закатывает глаза, секунду думает, а потом захлопывает дверь перед моим носом.

– Ходят тут всякие... идиоты.

Из-за двери я слышу, как она говорит кому-то заткнуться.

– Никто. Просто ошиблись дверью.

Но я не ошибся дверью. Вся моя жизнь была за этой дверью – была она, которая передергивала плечами на кухне, натягивая свитер повыше. Был чайник, который свистел нам обоим. Была чашка с мишкой и воздушным шаром. Были голоса соседей на лестничной клетке. Была медная ложка для обуви – она вечно то заваливалась в старые ботинки с высоким голенищем, то со звоном падала на пол и будила ее, хотя я старался, как мог, когда уходил, вести себя потише.

Что если это шутка, просто я пришел не в свое время? Что если это меня искали, а не я искал? Это не я пропал из квартиры, а просто вернулся слишком поздно, так поздно, что там уже жили другие люди?

Я просто ушел однажды вечером – бывает же так, ушел, и меня не стало, я умудрился пропасть, как люди на фотографиях, которых я искал, и несколько людей, конечно, могут вспомнить меня по имени, и ее, и его, но только вот имя не сходится – но каждый раз другое. В каждом новых свидетельских показаниях другое имя. И другой возраст ребенка. И профессия тоже другая.

Кем я был, чем занимался, куда ходил и зачем.

Надо было спросить у крашеной, давно ли въехали. Давно ли они сделали тут ремонт. Слышали ли стоны и охи, и собачий вой. Давно ли красили лестницу. Почему единственное, что они не сменили – это входную дверь.

Но я никогда больше не подойду к той двери. Двери, за которой будет другая жизнь.

102.

– Пошли. Объявляют посадку.

– Ммм?

– Пошли.

Поезд еще не подошел, но надо было идти.

На платформе никого не было. Ничего не объявляли по громкой связи. Никого не искали, и ничью фамилию не объявляли, чтобы они срочно подошли к кассе или окну информации. Над платформой висела одна камера – я позаботился о том, чтобы отойти в ту сторону, где она нас не захватывала.

Скорее всего, они все еще проверяют один за другим пограничные пункты. И потом, я мог бы и остаться в городе, у них нет точного способа это проверить – если машина вернулась на прежнее место, то сложно будет понять, кто именно пользовался ей в последний раз.

Поезд подъехал, и мы сели. Никого не было в тамбуре, никто не проверял у нас билеты. Чемодана у нас уже не было – только ее рюкзак, поменьше, и мой, побольше.

Я почему-то подумал – абсурдную, смешную мысль – что можно было бы бросить монетку между поездом и платформой. На счастье. Или не монетку, а кольцо с ящерицей, если бы я не оставил его в том бинте. Металл расплющат колеса поезда, и превратят его, хрупкое, в кусочек металла и раскрошенный камень.

Когда мы сели – в вагоне было мало народу, человек пятнадцать, и ряды пустых кресел, обычный междугородний поезд – он проснулся и заплакал. Он плакал так громко и так сильно, что она бросила рюкзак на сиденье, взяла его на руки и стала ходить туда-сюда по проходу, прижимая его к груди.

– Ну-ну, ты что.... Ты был таким молодцом, не кричал, не плакал, ну ты что, ну, ну, ну, тише... Тише...

Поезд тронулся.

103.

– Ну теперь-то можно поспать, – сказала она удовлетворенно, когда он наконец успокоился. – Мм. Кресла тут не очень удобные.

– Это да.

– Долго ехать?

– Часа четыре. Пять.

– А потом на другой поезд?

– Да. – сказал я задумчиво.

– И мы будем ехать на поездах, пока не доедем до края земли? Переходить с одного в другой?

– Да, – сказал я опять, и посмотрел в окно, где летели поля. – Примерно так. Теперь все.

– Все? – переспросила она.

Глаза ее говорили – у нас нет почти никаких вещей. У нас он, маленький и беззащитный. Что мы будем делать, говорили ее глаза. Что мы будем делать, потому что только что мы оставили позади все, что имели, и отправляемся теперь туда, где не имеем ничего. Мы только две фигуры, примостившиеся на самом краю листа, два туриста, который в полуденную жару зашли в придорожное кафе. Только никто не знает, что у них нету дома.

– Все, – повторил я.

Я смотрел в окно и думал. Я знал, что те, кто будет меня искать, кто уже ищет, остаются в прошлом. Я знал, что город все-таки отпустил меня, выпустил из пальцев, хотя до последнего в это не верил.

Как иногда передергиваешь плечами под пальто и выходишь из чего-то, проходишь сквозь, и только потом замечаешь, что оно кончилось. Так кончается иногда горе – тебя незаметно выносит на берег, и ты лежишь, хватая воздух ртом, и слаб шевелишься в полосе отлива.

Ничего не было за нами. И, когда мы будем переходить из одного поезда в другой, а поезда будут шуметь по рельсам, качаться, никак не кончаться, никогда не будет кончаться место на земле, никогда не будет кончаться место на шахматной доске, и с нее невозможно будет упасть. Никогда не будет кончаться место, куда мы могли бы пойти.

Раньше я думал, что у всего есть граница – с нас с ней есть граница, у города есть граница, у моей жизни есть граница. А потом я стал думать, что границы всего на свете находят друг на друга. О чем бы ты ни думал и где бы ты ни жил, оно всегда касается чего-то другого, а то, в свою очередь, касается еще чего-нибудь.

Я смотрел за скользящие за окном поля.

Не могу дождаться, пока выйду с платформы, держа ее за руку, и его тоже – ему к тому моменту будет лет пять, наверное, и он будет выкрикивать слова, которые точно нельзя говорить на публике. И не будет помнить ничего из того, что сейчас было. Ни дом-колодец, ни пятый этаж, ни подслеповатое небо. Ни запах города. Запах города останется только во мне.

И я не могу дождаться, когда выйду с платформы.

Не могу дождаться, когда сделаю свой первый настоящий шаг.